

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена **исключительно для использования в личных (некоммерческих) целях**. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя (©Европейский университет в Санкт-Петербурге). В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия с правообладателем (©Европейский университет в Санкт-Петербурге) является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЗАГАДКИ МОДЕРНИЗАЦИИ

К 60-ЛЕТИЮ
ОТАРА
ЛЕОНТЬЕВИЧА
МАРГАНИЯ

СБОРНИК
СТАТЕЙ

УДК 33
ББК 65.6я43
3-14

3-14 Загадки модернизации: К 60-летию Отара Леонтьевича
Маргания: сборник статей / сост. Д. Я. Травин. — СПб. : Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. — 120 с.
ISBN 978-5-94380-299-7

Сборник содержит пять статей, посвященных различным аспектам проблем модернизации. Два текста носят теоретический характер: в них говорится о том, что в целом представляет собой модернизация и какова была судьба расистских представлений о развитии общества. В трех других текстах рассматриваются важные проблемы, связанные с модернизацией отдельных стран: России, США, а также Финляндии и Эстонии.

УДК 33
ББК 65.6я43

ISBN 978-5-94380-299-7

© Авторы, 2019
© Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2019

Содержание

<i>Дмитрий Травин</i>	
Загадки модернизации	9
<i>Владимир Гельман</i>	
«Либералы» versus «демократы»: идейные траектории постсоветской модернизации	31
<i>Андрей Щербак</i>	
Перед теорией модернизации: взлет, крах и наследие расовой теории	51
<i>Павел Усанов</i>	
Загадки Американской революции 1775–1783 годов	75
<i>Дмитрий Ланко</i>	
Североевропейская модернизация: сравнение финского и эstonского опыта	100
Об авторах	119

Выход этого сборника статей, подготовленных научными сотрудниками Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге (М-центра), приурочен к юбилею Отара Леонтьевича Маргания — кандидата экономических наук, декана экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и президента М-центра.

О. Л. Маргания внес большой вклад в создание М-центра в 2008 году. Без его поддержки этот проект вряд ли вообще был бы осуществлен.

Исследования различных аспектов модернизации научным коллективом, который был собран в М-центре, начались около двадцати лет назад, то есть задолго до его официального создания в Европейском университете в Санкт-Петербурге. В 2004 году был издан двухтомник «Европейская модернизация» Дмитрия Травина и Отара Маргания. Затем появились книги «СССР после распада» под ред. О. Л. Маргания (2007 год) и «Нефть, газ, модернизация общества» под ред. Н. А. Добронравина и О. Л. Маргания (2008 год). На базе этих работ и сформировался коллектив М-центра.

За годы функционирования М-центра появился целый ряд исследований различных аспектов модернизации: как в виде препринтов докладов научных сотрудников (<https://eu.spb.ru/m-center/publications>), так и в виде монографий. Важнейшими из них стали книги: *Gel'man V., Marganiya O., eds. Resource Curse and Post-Soviet Eurasia: Oil, Gas, And Modernization. Lanham, MD: Lexington Books, 2010; Травин Д., Маргания О. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2011; Gel'man V., Travin D., Marganiya O. Reexamining Economic and Political Reforms in Russia, 1985–2000: Generations, Ideas, and Changes. Lanham, MD: Lexington Books, 2014.*

Данный сборник статей продолжает исследовательские направления, намеченные в предыдущих работах.

Открывает его статья научного руководителя М-центра Дмитрия Травина «Загадки модернизации». В ней автор развивает и уточняет важнейшие положения первой главы книги «Европейская модернизация», отвечая на многочисленные вопросы, которые появлялись у читателей с момента выхода в свет этого двухтомника: как начинается и осуществляется модернизация, как она соотносится с революцией.

В статье исполнительного директора М-центра Владимира Гельмана «“Либералы” versus “демократы”: идеиные траектории постсоветской модернизации» автор исследует важнейшие аспекты российских преобразований последних десятилетий, показывая различия во взглядах тех, для кого приоритетом было создание рынка, и тех, для кого приоритетом было формирование демократических институтов.

Научный сотрудник М-центра Андрей Щербак в статье «Перед теорией модернизации: взлет, крах и наследие расовой теории» анализирует концепцию, которая долгое время фактически представляла собой мейнстрим в исследованиях общественного развития и потерпела крах как раз в тот момент (конец 1940-х годов), когда была сформирована теория модернизации.

Научный сотрудник М-центра Павел Усанов в статье «Загадки Американской революции 1775–1783 годов» анализирует причины этого важнейшего в истории модернизации события и показывает, что и успехи, и неудачи дальнейшего развития США во многом были связаны с созданными тогда экономическими и политическими институтами.

Научный сотрудник М-центра Дмитрий Ланко в статье «Северо-европейская модернизация: сравнение финского и эстонского опыта» формулирует гипотезы, потенциально способные ответить на вопрос, почему финляндскую модернизацию можно считать успешным примером, в то время как эстонскую модернизацию начала XXI века можно охарактеризовать как «затянувшийся проект».

Дмитрий Травин
Загадки модернизации

За пятнадцать лет, прошедших с момента издания двухтомника Дмитрия Травина и Отара Маргания «Европейская модернизация» [Травин, Маргания 2004], в России имели место события, резко усилившие интерес общества к модернизационной тематике, а затем столь же резко этот интерес ослабившие.

В период президентства Дмитрия Медведева (2008–2012 годы) слово «модернизация» стало у нас чрезвычайно модным, но одновременно утратило статус научной категории (по крайней мере, в глазах большого числа неспециалистов). Поскольку новый президент использовал тогда это слово в качестве своеобразного бренда «нового курса» [Медведев 2009], модернизацией в прессе стали называть все хорошее. А все плохое стало выглядеть борьбой злобных, консервативных сил с модернизацией. Это, в свою очередь, повлекло за собой предельную субъективизацию процесса у целого ряда commentators, пришедших к выводу, что модернизация — это всего лишь то, что делают хорошие люди, модернизаторы. Внутренняя сложность данного процесса стала все меньше привлекать внимание.

В последние годы (с 2013-го по настоящее время), когда российская экономика вошла в состояние стагнации, во внутренней политике наметился курс на ликвидацию былых свобод, а в международной сфере наша страна стала постепенно отдаляться от Запада, мода на модернизацию ушла. Наоборот, модным стало, скорее, говорить о безнадежности России в плане осуществления модернизации, о ее особом пути, о так называемой «русской матрице» [Травин 2018]. Это сделало подход к данной проблеме еще более упрощенным. Любой провал в государственной политике стал рассматриваться как доказательство принципиальной нереформируемости страны. Старшему

поколению, осознавшему, что при его жизни в России уже не реализуются былые мечты, стал не слишком интересен научный анализ, показывающий, что модернизация в любом обществе — это очень долгий и неоднозначный процесс.

Данная статья написана для того, чтобы показать внутреннюю сложность и противоречивость процесса модернизации. Она служит дополнением к первой главе «Европейской модернизации» и развивает некоторые ее положения. Поскольку мы стремимся здесь разгадать загадки, кажущиеся порой неразрешимыми, и оспорить некоторые упрощенные представления о модернизации, сложившиеся в нашем обществе, то будем mestами использовать некоторые бытовые примеры для иллюстрации важных теоретических положений.

«Чапаев» на распутье

Василий Иванович лежит на диване перед телевизором с бутылкой пива и смотрит футбольный матч «Барселона» — «Реал». Ему хорошо. Он, можно сказать, достиг гармонии, при которой не хочется даже шевелиться. В идеале Василию Ивановичу хотелось бы пропасти в таком состоянии весь остаток жизни.

Увы, в какой-то момент он обнаруживает, что пиво закончилось. Гармония стала неполной, и выход из идеального состояния заставляет Василия Ивановича принимать какое-то решение. Сразу подчеркнем, что выход из идеала произошел по объективным причинам вне зависимости от желания нашего героя. Но дальше уже развитие ситуации непосредственно зависит от его решений. Василий Иванович, несмотря на пассивное горизонтальное положение тела и отсутствие героических наклонностей, присущих его знаменитому тезке из популярных советских анекдотов, оказался в положении витязя на распутье трех дорог.

Первое решение, которое он может принять, состоит в том, чтобы оторвать зад от дивана и дойти до холодильника, где лежит еще одна бутылочка. Второе решение сводится к тому, чтобы зад не отрывать и в полной мере придаваться естественному чувству лени, доставляющему удовольствие даже и без алкогольного дополнения. Наконец, третий вариант предполагает дальнейшее возлежание, дополненное

мечтами о различных удовольствиях, в известной мере заменяющими нехватку пива. Чтобы кто-то не подумал, будто мы здесь лишь шутки шутим, а не занимаемся научным анализом, выразимся о данной проблеме «яснее»: выведенный из состояния гармонии человек выбирает среди трех возможностей — совершить ряд рациональных действий для улучшения своего текущего положения, отдаваться иррациональным страстям или уйти в иллюзорный мир.

Если это понятно, то попробуем усложнить задачу. В реальной жизни каждый из трех вариантов выглядит намного сложнее, чем в нашем гипотетическом примере.

Запас пива в холодильнике в какой-то момент тоже иссякнет, и человек должен будет предпринимать все более сложные действия, чтобы его пополнять. Для пополнения запаса надо будет выйти в магазин. Но в магазине все продается за деньги, а потому Василий Иванович должен постоянно работать, добывая деньги на пропитание и пропивание. Если зарплаты недостаточно, чтобы была закуска и чтобы пиво лилось рекой, ему придется менять место работы или профессию. Для смены профессии, скорее всего, понадобится всерьез переучиваться... Продолжать эту цепочку можно бесконечно. Общим во всех предпринимаемых нашим героям действиях является то, что он ради удовлетворения своих потребностей совершает комплекс рациональных акций. Думает — принимает решения — действует — получает искомый результат. А если ошибается, то вновь думает, вновь действует, но уже по-другому. Ведь ошибочное решение — это тоже решение рациональное, хоть и связанное с неправильным анализом фактов или недостатком информации.

Иррациональные страсти не сводятся только к лени, и тот, кто им отдается, может, скажем, предпочесть пребыванию на диване поход на стадион с выплеском эмоций, завершающимся дракой с фанатами команды противника. Но может возникнуть и более сложная ситуация. Василий Иванович, скажем, влюбится и на какое-то время совершенно забудет про футбол с диваном. Или же будет отдаваться любви, лени и футболу попеременно, руководствуясь своим сиюминутным настроением. А еще он может завести собаку и отдаваться любви к четвероногому другу, тратя время, силы и деньги на заботу о бесполезном (но столь мило виляющем хвостом) существе. Во всех этих случаях иррациональный выбор нашего героя принципиально

отличается от рационального тем, что удовольствие наш благодушный Василий Иванович получает, не размышляя, а просто следуя зову своей души, то есть повинуясь чему-то такому, что заложено в него Богом или природой. Скорее всего, общим во всех случаях бездумного следования своей природе является то, что со временем у Василия Ивановича появятся проблемы. Либо ему с питомцем кушать вдруг станет нечего. Либо в кутузку за хулиганство на стадионе сволокут. Либо любимая женщина уйдет, обнаружив, что здесь ей ничего в перспективе не светит.

Построение иллюзорного мира может ограничиться простой мечтой о пиве, но может принять более сложные формы. Вот наш герой переносится в мыслях на футбольное поле. Вот он идентифицируется, скажем, с блистательным Лионелем Месси. Вот он уже видит себя обладателем «Золотого мяча» и миллионов долларов. Более сложный механизм построения иллюзорного мира предполагает создание целой системы верований, благодаря которым при необходимости становится легче переживать не только отсутствие пива, но также дивана, футбола, телевизора, любимой женщины и, возможно, уютного дома, нормального питания, защиты от многочисленных врагов. Системы верований рациональны. Верующий человек обычно не отдается своим страстям, а долго, мучительно размышляет об устройстве мира и смысле жизни. Но итогом этих размышлений становятся не конкретные действия, направленные на решение проблем (как в первом варианте), а идеи, направленные на трансформацию самого себя с тем, чтобы проблемы не донимали.

Попробуем еще больше усложнить задачу. Перенесем теперь нашего героя с его выбором оптимального пути поведения на тысячи лет назад. Вот он лежит где-то на благодатной африканской равнине, грязь под солнышком и удовлетворяя свою природную страсть к теплу. Решив напиться, он поворачивается влево и набирает свежей воды в роднике. Решив поесть, поворачивается направо и срывает бананы с ветки. Наевшись, он займется сексом с возлежащей рядом под теплым солнышком соседкой, и так будет проводить свои счастливые дни.

Нарисованная картина, бесспорно, красива и для кого-то привлекательна, но, прямо скажем, малореалистична. Скорее всего, за соседним холмом притаился лев, и наш герой должен продумывать средства защиты от опасности. В засуху может иссякнуть благодатный

родник, а в неурожайные годы возникнет дефицит бананов. Вопрос о сексе с наиболее привлекательной соседкой будет решаться в жестокой драке, где наш беззаботный дикарь, скорее всего, уступит более сильному самцу. А ко всему прочему, бывают еще эпидемии, нападения соседних племен и, возможно, визиты работогоровцев, желающих продать нашего героя куда-то на дальнюю плантацию.

В общем, можно с уверенностью сказать, что счастливый дикарь не сможет долго пребывать в состоянии блаженного равновесия с природой. Окружающая среда шарахнет его по голове, выведет из блаженства и заставит приспособливаться к меняющейся обстановке. Приспособление это может быть весьма различным. Для защиты от диких зверей он сконструирует простейшее оружие и выстроит укрепленное жилище. Для прокорма займется сельским хозяйством. А для решения социальных проблем станет договариваться с людьми так, чтобы свести разрушительные конфликты к минимуму. Если попытаться выразить одним словом все, что он станет делать для выживания, то можно назвать это рационализацией поведения. Наш герой постепенно станет жить не под воздействием своих природных желаний, а под воздействием рациональных размышлений. Хотя бы самых примитивных. Посильных его пока еще не слишком изощренному уму.

Он может отложить на некоторое время поедание плодов земных, поскольку какую-то часть требуется посеять ради будущего урожая. Он может проводить много времени не в неме под солнцем, а в трудах над совершенствованием лука, стрел и своего умения попадать в нужную цель. Он может воздержаться от общения с красавицей, принадлежащей вождю племени для того, чтобы остаться в живых и удовлетворять страсть с той женщиной, которая соответствует его статусу.

Более того, наш герой станет постепенно осознавать, что мир может меняться и это совершенно нормально. Или, точнее, он станет допускать отдельные, ограниченные инновации в свой преимущественно неизменный мир. И эти инновации будут все меньше его страшить. «Там, где традиционный человек отвергает всякие инновации, говоря, “Так быть не может”, представитель современного Запада, скорее, спросит: “А не сделать ли это?” — и продолжит путь без лишней суеты» [Lerner 1958]. Конечно, наш африканский герой — далеко еще не представитель современного Запада, но первый шаг к осознанию необходимости инноваций делает именно он.

Все это, разумеется, не означает, будто человек, осуществляющий перемены, становится исключительно рационально мыслящим и действующим субъектом. Его наверняка временами изрядно «заносит на поворотах», что негативно отражается на труде, охоте и отношениях с соплеменниками. Наверняка временами он станет уходить в запой, под воздействием которого забросит труд, пренебрежет безопасностью и поссорится с соседом. Но если и его, и соседа, и других соплеменников «заносить» будет слишком уж часто, то велика вероятность появления столь значительных провалов в функционировании общины, после которых она просто не выживет. А та община, которая сможет эти провалы минимизировать посредством рациональных действий, напротив, будет процветать. И в дальнейшем, сталкиваясь со все более сложными препятствиями для своего выживания, люди станут прибегать ко все более сложным рациональным построениям, вводя в производство науку, организуя военные действия с помощью стратегических схем и воздействуя на своих соплеменников через рационально выстроенные идеологические конструкции — попросту говоря, через религиозные верования, сплачивающие широкие массы.

В религии сочетаются рациональные действия элит по организации широких масс с иррациональным стремлением этих самых масс к иллюзиям, помогающим им переживать трудные времена, избавляться от разнообразных страданий [Фрейд 1992: 81]. Совсем без иллюзий человеку никак нельзя обойтись. Без них еще никто никогда не выживал. Если не религия, то хотя бы мечта о лучшем будущем бывает, наверное, у каждого. Если не вера в Бога, то хотя бы вера в то, что удастся удачно обустроить свою жизнь в этом мире, помогает любому человеку [Мелихов 2012]. Иногда иллюзии существуют у нас даже несмотря на то, что суровая реальность, казалось бы, разбивает всякие надежды. Иллюзии живут в нас, несмотря на рациональную оценку окружающего мира. Но если иррациональное станет вдруг доминировать над рациональным в каком-то человеческом обществе, то велика окажется вероятность совсем «уйти в иллюзии». А это ослабит выживаемость. Такое иррациональное общество просто не сможет развиваться.

Развитие обеспечивается рациональностью. Но она, конечно, не означает безошибочность. Не означает, что наш герой, размышляя о том, как ему улучшить свою жизнь, всегда принимает абсолютно пра-

вильные решения. При стремлении рационально развиваться, взвешивать плюсы и минусы своих действий, человек постоянно ошибается [Хайек 2018: 98–99]. Иногда настолько серьезно, что вместо движения вперед откатывается назад. Но если он следует рациональным размышлениям, а не иррациональным порывам, то через какое-то время вновь выруливает на ту дорогу, которой хотел следовать. И следует он этой дорогой долгие годы, столетия и даже тысячелетия, проходя путь от традиционного общества к современному. Такое движение, собственно говоря, и называется модернизацией.

В связи с этим надо обязательно отметить, что, хотя в процессе модернизации, конечно, появляются модернизаторы, общий ход преобразований часто оказывается связан с появлением целого ряда непредсказуемых последствий, а конкретный результат является не столько реализацией заранее составленного плана, сколько следствием сочетания комплекса обстоятельств, в том числе случайных [Аджемоглу, Робинсон 2015: 153; Мокир 2017: 747; Голдстоун 2014: 290; Лахман 2010: 30; Моррис 2016: 447; Лал 2007: 204; Манн 2018: 736].

Это все происходит, во-первых, потому что люди, стремящиеся к модернизации, порой ошибаются и заводят общество не туда. А во-вторых, потому что даже в тех случаях, когда они ведут «туда», в обществе возникают многочисленные группы интересов, сопротивляющиеся переменам. Либо в силу непонимания их важности. Либо наоборот, потому что эти группы слишком хорошо понимают, насколько сильно преобразования ударят по их текущим интересам. Таким образом, итогом деятельности модернизаторов становится не реализация их тщательно продуманных и записанных на бумаге планов и даже не реализация общих модернизационных идей, а реализация идей с поправкой на сопротивление, которое иногда может кардинально изменить задумки.

В конечном счете преобразование общества из традиционного в современное осуществляется лишь со сменой целого ряда поколений. «По мнению теоретиков модернизации, прошлое обнаруживает тенденцию к стабилизации в виде “однажды принятой привычной установки”, поэтому одноразовый акт разрыва не может покончить с прошлым, здесь нужны постоянные усилия, направленные на разрыв» [Асман 2017: 114]. И эти усилия действительно предпринимаются, поскольку число людей, выигрывающих от модернизации,

увеличивается со временем. В новых поколениях сила сопротивляющихся переменам групп становится меньше, поскольку молодежь лучше адаптируется к новым условиям жизни.

Т. Парсонс, обобщая теоретические положения М. Вебера, сформулировал закон возрастающей рациональности. Он заключается в следующем. Как только начался процесс рационализации, у него сразу возникает некая имманентная основа, на которой и происходит дальнейшее развитие. Оно может совершаться ради достижения различных целей, идти в более или менее быстром темпе, прийти к каким-то результатам или вдруг остановиться в какой-то точке — но направление движения уже задано. Темпы и последовательность изменений определяются размером и силой препятствий, возникающих на пути [Парсонс 2000: 188, 298, 299].

В ходе модернизации происходят процессы двух типов. Во-первых, реформы [Травин, Маргания 2011], осуществляемые разного рода реформаторами (будем использовать этот термин вместо не слишком удачного понятия «модернизаторы», создающего иллюзию, будто люди могут целенаправленно осуществить весь модернизационный процесс). Во-вторых, адаптация общества к новым институтам (правилам игры), предложенным реформаторами. Одно неотделимо от другого. Не бывает реформ, которые не потребовали бы от общества сложного процесса адаптации. И не бывает перемен, которые возникают сами по себе, то есть без новых идей и без людей, которые эти идеи формулируют, пропагандируют и реализуют.

В обществе часто присутствуют два типа опасных заблуждений, свидетельствующих о непонимании сложности процесса модернизации.

Первое состоит в наделении реформаторов магической силой осуществить любые перемены. Те, кто придерживается подобных взглядов, склонны во всех неудачах модернизации винить конкретных реформаторов, которые, с их точки зрения, либо были глупы и не поняли сути необходимых перемен, либо корыстны и продали право реформирования за «чечевичную похлебку», либо вообще являлись агентами тайных сил, стремившихся модернизацию заблокировать.

Второе состоит в представлении, будто бы жизнь сама по себе всегда становится лучше. Те, кто придерживается подобных взглядов, не понимают, как часто институты (правила игры) мешают осуществлению позитивных процессов, и для того, чтобы людям выгодно было

делать свою жизнь лучше, кто-то должен взять на себя смелость институты переменить. Например, провести реформы, расширяющие степень свободы в бизнесе и обеспечивающие защиту собственности.

Расисты и марксисты

Читая книги и газеты, смотря телевизор или бродя по интернету, мы можем встретить использование слова «модернизация» в трех смыслах.

Первый смысл — чисто бытовой и, естественно, наиболее распространенный. Модернизацией называется всякое усовершенствование: от модернизации санузла или узла железнодорожного до модернизации вооруженных сил или госаппарата.

Второй смысл — научный. Модернизацией называется то самое тысячелетнее движение от традиционного общества к современному, о котором шла речь выше.

Третий смысл — тоже научный, но несколько иной. Дело в том, что, хотя человечество живет и меняется на протяжении многих веков, по-настоящему резкие изменения, сделавшие мир именно таким, какой он сегодня, произошли в основном за последние три-четыре столетия. Именно в эту эпоху утвердилась рыночная экономика как господствующая хозяйственная система. Именно в эту эпоху утвердились демократия со всеобщим избирательным правом. Именно в эту эпоху человек стал по-настоящему мобилен, получив способность быстро менять место пребывания, профессию и даже образ жизни.

В социальных науках радикальные перемены, начавшиеся примерно три века назад (или, возможно, чуть раньше), получили название «великое расхождение» [Померанц 2017]. В том смысле, что динамичная Европа стала быстро расходиться с остальным миром по характеру экономического и политического развития. Правда, в настоящее время большая часть этого остального мира постепенно Европу нагоняет, если говорить о темпах роста ВВП. Поэтому смысл слов «великое расхождение» становится, возможно, иным. Речь идет о расхождении современного мира со своим прошлым. И чаще всего, когда в науке говорят о модернизации, имеется в виду развитие того типа, который мы наблюдаем именно в последние столетия, а не изобретение водяной мельницы, печатного станка или векселя.

Теория модернизации как научное направление сформировалась после Второй мировой войны, когда в мире возникло множество новых независимых государств. Как в самих этих государствах, так и на Западе появилось много вопросов о возможности независимого развития. Проще говоря, о том, смогут ли «дикари» нормально развиваться без покровительства народов, достигших к этому времени успеха. Или по-прежнему необходимо «бремя белого человека» — колонизатора, взявшего на себя заботу о том, чтобы цивилизовать отставшие народы.

К тому времени в мире существовало два широко распространенных подхода к данной проблеме. Не столько научных, сколько идеологических. Первый подход можно несколько упрощенно назвать расистским¹, второй — марксистским.

Первый основывался на том простом факте, что настоящего успеха ко второй половине XX столетия добились только западные народы. Они имели значительно более высокий уровень ВВП на душу населения. Они создали мощные системы вооружений и государственной организации, благодаря которым долгое время правили огромными колониальными империями. Да и ключевые достижения культуры (как многим казалось) тоже были плодом западной цивилизации. Отсюда вытекал скептический ответ на вопрос о возможностях достижений слаборазвитых народов. Тот, кто не преуспел раньше, по всей видимости, не преуспеет и впредь. Человек, поживший в крупном европейском или североамериканском городе, а затем совершивший путешествие по слаборазвитой части мира, своими глазами видел столь большие различия, которые, казалось, никогда уже нельзя будет преодолеть.

Второй подход исходил из того, что промышленно более развитая страна просто показывает отсталой ее будущее, как отмечал в «Капитале» Карл Маркс [Маркс 1978: 9]. В произведениях Маркса и Энгельса не было сформулировано четкой теории, объясняющей, как именно это происходит, но советский марксизм, чрезвычайно сильно упростивший классиков, утверждал, что существуют всеобщие законы развития, а следовательно, не только западные, но и все прочие

¹ Подробнее о расистском подходе см. статью Андрея Щербака в этом сборнике.

народы могут переходить от одного способа производства к другому. От первобытного строя — к рабовладельческому. Потом — к феодальному. Затем — к капиталистическому. И наконец, к коммунистическому [Румянцев 1977]. Развитие производительных сил неизбежно меняет производственные отношения. С серьезными научными доказательствами того, что мир развивается именно подобным образом, у марксизма дела обстояли не слишком хорошо. Но многие люди в разных странах мира хотели верить в успех, хотели надеяться на лучшее и отвергали, казалось бы, устоявшееся представление о том, что успешен бывает только Запад. Распространенные тогда представления о достижениях Советского Союза укрепляли веру в истинность марксистской схемы развития человеческого общества.

Теория модернизации дала науке новый подход. С одной стороны, она утверждала, что развитие вполне возможно. Если одни народы смогли перейти от традиционного общества к современному, то это могут сделать при определенных обстоятельствах и остальные. Во всяком случае, если кто-то по какой-то причине собирается утверждать, что некий народ не может повторить успех другого и что где-то в мире на долгие века утвердится какой-то принципиально иной тип общества, то именно этот скептик должен обосновывать свое странное мнение [Парсонс 1997: 182, 189]. С другой стороны, теория модернизации отказалась от марксистской схемы, утверждающей неизбежность возникновения коммунистического общества. Подобное общество — не более чем фантазия. Современность — это рынок и демократия, а не бесклассовое общество, в котором, как полагали советские марксисты, без денег и товарного обращения будет достигнуто изобилие, позволяющее всем потреблять столько, сколько захочется.

В направлении, заданном теорией модернизации, работало множество разных ученых. Они по-разному видели особенности развития общества. В чем-то сходились друг с другом. В чем-то принципиально расходились. Какие-то представления этих исследователей жизнь опровергла, какие-то подтвердила. Но вне зависимости от этих частных моментов можно сказать, что теория модернизации дала нам главное: она отвергла как консерватизм, основанный на представлении о «бремени белого человека», так и радикализм марксизма, утверждавшего, будто развитие идет в сторону «светлого коммунистического будущего».

Именно в этом состоит суть теории модернизации. Тот, кто принципиально оспаривает эту теорию, фактически возвращается к одному из двух отмеченных выше подходов — расистскому или марксистскому. Либо он утверждает, будто есть народы, пригодные для модернизации и непригодные для нее, либо он начинает в своих исследованиях строить лучшее будущее вместо плохого настоящего.

Конечно, теории, противостоящие модернизационной, не стоят на месте. Редко кто сегодня говорит, будто русские, арабы или латиноамericанцы генетически ущербны в сравнении, скажем, с германцами или североамериканцами, а потому не пригодны для развития. Зато говорят, что у отставших в деле модернизации народов плохой культурный код или даже культурный генотип. Редко кто сегодня пытается строить в своих теориях коммунизм. Зато много существует таких предложений по улучшению капитализма с помощью национализации собственности, повышения налогов, денежной накачки экономики и т. д., что следование подобным советам может оказаться для рыночных стран совершенно катастрофическим.

В теории модернизации, конечно, тоже было множество ошибок. И это вполне естественно, поскольку она создавалась большим числом ученых разного профиля. Кто-то сильно переоценивал возможности быстрой модернизации мира. Кто-то сильно недооценивал консерватизм социума. Кто-то сильно упрощал мир в своих теоретических схемах, утверждая, будто все отстающие страны похожи на западные и для достижения успеха должны лишь импортировать западные институты. Эти ошибки следует исправлять. Но не стоит с водой выплескивать и ребенка. Провалы отдельных исследователей прошлого не означают, что надо в страхе шарахаться от самого термина «modернизация». Во множестве книг, выходящих сегодня под названиями типа «Почему властвует Запад?», «Почему преуспела Европа?», «Почему одни страны богатые, а другие нет?», ставится, по сути дела, вопрос о причинах модернизации. Но авторы стесняются этого понятия, а потому пытаются его обойти, накручивая все большее число слов и запутывая читателя.

Как справедливо отмечал Альберто Мартинелли, «односторонность критики классической теории модернизации приписывает изъяны наименее разработанных и наивных ее версий всей совокупности теории модернизации и не признает, что классические исследования

модернизации предлагают широкий набор гипотез и толкований, которые можно и сегодня с пользой применять в исследованиях процессов модернизации в развивающихся странах» [Мартинелли 2006: 91].

Наверное, главная проблема теории модернизации состоит в том, что в эпоху своего зарождения она мало уделяла внимания тому разнообразию путей к современности, которые на практике существовали в истории западного мира. Экономисты, социологи и политологи, размышлявшие о текущем состоянии стран догоняющей модернизации, историю часто отдавали на откуп историкам. Однако, перефразируя известную мысль о войне и военных, можно сказать, что история — слишком важное дело, чтобы отдавать его на откуп историкам.

Специалисты по европейскому прошлому хорошо знали специфику каждой страны и эпохи Запада, но их знания на начальной стадии формирования теории модернизации не помогали изучать современность государств Востока и Юга. А когда выяснилось, что рыночные и демократические преобразования во многих развивающихся странах часто притормаживают или даже разворачиваются на некоторое время вспять, в научных кругах возникла чуть ли не паника, и теория модернизации подверглась жесточайшей атаке. Как отмечала Ирина Стародубровская, один известный ученый, работающий за рубежом, услышав от нее про модернизацию, сказал, что это слово в наше время даже произносить неприлично [Стародубровская 2019: 156]. Впрочем, как пишут Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель, сегодня уже маятник качнулся в обратную сторону, теории, критиковавшие модернизацию, вышли из моды и «западно-капиталистическая версия модернизации вернула себе доверие» [Инглхарт, Вельцель 2011: 35].

Для того чтобы понять, насколько сложна модернизация и сколь разными путями она может осуществляться в разных странах, надо внимательно изучить европейское прошлое и понять, как образно выразился Чарльз Тилли, почему Венеция или Россия не стали Англией [Тилли 2009: 233]. Надо разобраться во многих вопросах. Почему промышленный переворот случился вначале в Англии и лишь затем в других странах? Почему во Франции, а не в Англии или Германии было так много революций? Почему нацизм ударил именно по Германии? Почему революционный марксизм одержал победу именно в России? Какое проклятие поразило Испанию, явившуюся в начале Нового

времени самой богатой европейской страной, а затем переставшей нормально развиваться вплоть до 50-х годов XX века?

Для ответа на все эти вопросы существует такая наука, как историческая социология, активно развивающаяся в последние несколько десятилетий [Лахман 2016]. Теория модернизации, не обогащенная исследованиями в области исторической социологии, оказывается несколько схематичной. Она дает нам общее понимание важнейших социально-экономических и политических процессов, протекающих в современном мире, но не может объяснить возникновение тех или иных поворотов или «загогулин», как выражался президент Борис Ельцин, столкнувшийся с многочисленными трудностями на пути модернизации России.

Историческая закономерность

Нам привычна черно-белая картина мира. Добро — с одной стороны, зло — с другой. Примерно так мы часто думаем о модернизации и революции.

Модернизация — это созидание. Революция — это катастрофическое разрушение. Благодаря модернизации мир становится лучше. Пусть понемножку, пусть не во всех сферах, пусть не для всех сразу... Но лучше. И следовательно, подсказывает нам подобная логика, если мы преодолели сопротивление консерваторов и начали медленно модернизировать нашу страну, то мы тем самым хоть чуть-чуть отдалились от нищеты, отсталости, социального взрыва. Ведь революция — это удел отсталого общества, недовольного своей жизнью. Удел пролетариев, которым, как говорили Маркс и Энгельс, нечего «терять, кроме своих цепей» [Маркс, Энгельс 1948, т. 1: 39]. Модернируя общество, мы предоставляем людям какое-то имущество, какой-то доход, и им теперь есть что терять. Значит, они в меньшей степени оказываются похожи на пролетариев, описанных в «Манифесте коммунистической партии». Кто же станет строить баррикады, поднимать красные знамена и рисковать жизнью или свободой, если у него есть многое из того, что нужно для нормального существования?

Марксисты, правда, думают прямо противоположным образом. Революция — это локомотив истории, который приближает нас к та-

кому коммунистическому обществу, в котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех. А медленное развитие буржуазного общества, которое мы называем модернизацией, для ортодоксального марксиста не столь существенно. Ведь оно не уничтожает эксплуатации человека человеком, не отменяет изъятия капиталистом прибавочной стоимости, создаваемой рабочим. Марксисты-реформисты могут считать, что модернизация не так уж плоха и что она не мешает мирному ходу революции. Радикальные марксисты сочтут, что от модернизации — один лишь вред, поскольку пролетариат превращается благодаря высоким заработкам в рабочую аристократию, не склонную совершать революцию. В общем, в большей или меньшей степени марксизм противопоставляет модернизацию и революцию, но только переставляет знаки: добро становится злом, черное — белым.

В чем-то крайности всегда сходятся. Относительно революции эти две позиции сойдутся в том, что добро она или зло, но модернизация ее притормаживает. А то и вовсе революционную опасность устраниет. Увы, на самом деле все обстоит прямо противоположным образом. Добро и зло не разделены стеной. Зло проистекает из добра. Модернизации надо пройти по очень узенькой тропке между двумя обрывами, чтобы не сорваться в революцию.

Вспомним снова про нашего героя Василия Ивановича и перенесем его теперь в ту эпоху, когда энергично осуществлялась модернизация России — в десятилетия после Великих реформ Александра II. Модернизация многое меняла в России: люди постепенно переселялись из деревни в город, приобретали новые источники доходов, меняли свой образ жизни и отношение к труду [Миронов 2014–2015].

В молодости жил Василий Иванович в деревне по заветам своих отцов и дедов. Батька его женил и научил в поле работать, а при необходимости снабжал подзатыльником для правильного воспитания. Деревенский поп объяснял, как истинно в Бога верить, и при необходимости налагал епитимью за грехи. Община в целом осуществляла передел земли в соответствии со старой традицией. Да и вообще можно сказать, что именно традиция определяла все общинное существование. То, что происходило за пределами родного села, нашего героя вообще не интересовало. Мир постепенно менялся, в нем осуществлялась модернизация благодаря рациональным действиям политиков,

чиновников и предпринимателей, но до Василия Ивановича все эти события не доходили. Исчезали, как круги, расходящиеся по воде из того места, куда, скажем, упал камень.

Но вот оказалось внезапно, что семье земли для прокорма не хватает, и наш герой отправился трудиться на завод. Поначалу в ближайший город, где было много земляков и где сформировалась земляческая община. А затем в поисках лучшей жизни — в Питер, где ни знакомых, ни земляков вообще не имелось. И оказался вдруг привыкший жить по традиции и не привыкший своим умом думать Василий Иванович один-одинешенек. Никто из авторитетных для него лиц не мог теперь объяснить, как правильно жить. А жизнь тем временем изменилась круто. Возникли принципиально новые вопросы, на которые требовалось дать ответ.

Капиталист — это не барин, не природный господин, а вчерашний мужик, наш брат: справедливо ли то, что живет он как барин, а мы трудимся в поте лица? В городе вокруг — сплошные инородцы, люди с иными обычаями, иной верой: как быть с «некрхистями», терпеть, убеждать, давить? На заводе трудовой цикл совсем иной, чем в деревне, — по гудку, а не по временам года: верно ли это, можно ли штрафовать человека, опоздавшего к станку на минутку-другую?

Если бы человек был машиной, подсоединяемой к станку, то, наверное, всех этих вопросов не появлялось бы и вместе с ними не появлялось бы проблем. Но человек — это не машина, а очень сложное существо. Даже такой, казалось бы, примитивный, необразованный и редко размышляющий человек, как Василий Иванович. Поэтому, переселившись в город, он не только выигрывает от заработков, которые получает на заводе, но и проигрывает от психологического дискомфорта, связанного с непривычной средой. «Мигрант переживает устойчивый стресс» [Яковенко 2012: 547]. И стресс этот будет сохраняться до тех пор, пока наш герой как-то не ответит самому себе на мучающие его вопросы. А для того, чтобы ответить, он должен найти новых учителей жизни вместо отца, деревенского попа и сельских стариков. Причем учителя эти должны отвечать именно на новые вопросы, объективно возникшие в городе, а не твердить бесконечно то, что было важно для Василия Ивановича в прошлой жизни, но уже неактуально теперь.

Учителя такие в городе находятся довольно быстро. Как правило, это люди, чьи взгляды отражают одну из двух «великих идеологий»

Нового времени: социализм или национализм. В отличие от сравнительно изолированной от идеиных воздействий деревни, большой город — это место, где при длительном проживании невозможно не «подцепить» какой-то идеологический вирус. Если Василий Иванович совсем темный, неграмотный человек, он наверняка услышит о новых идеях от соседа или от собутыльника в кабаке. Если он умеет немного читать, то может в какой-то момент обнаружить листовку агитатора. Если же он по-настоящему грамотен и любознателен, то станет читать газеты и популярные брошюры, где в примитивной форме разъясняются сложные идеи властителей дум эпохи.

Социализм и национализм как идеологии противоположны по своей сути, однако по форме выстроены одинаково. Они отвечают именно на те болезненные вопросы, которые Василия Ивановича волнуют.

Социализм говорит, что капиталист — это классовый враг рабочего. Весь мир делится на тех, кто трудится, и тех, кто отирает у трудящихся часть ими произведенного продукта. Государство с царем, министрами и генералами — это орудие класса капиталистов, помогающее осуществлять эксплуатацию. То есть весь существующий порядок вещей основан на чудовищной несправедливости. Чтобы исправить несправедливость, нужна классовая борьба. Итогом классовой борьбы станет революция. А следствием революции — создание нового справедливого мира без частной собственности и эксплуатации. В этой борьбе у рабочего класса есть важный союзник — мировой пролетариат, который точно так же, как наш, эксплуатируется зарубежными капиталистами. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем», — поют социалисты в «Интернационале».

Национализм говорит, что врагами Василия Ивановича являются другие страны и другие нации. Весь мир делится на наших и не наших. Наши говорят на нашем языке, придерживаются нашей веры, наших обычаяев. Во главе всех наших стоит великий государь. А помогают ему министры, генералы и даже хозяева предприятий, на которых производится все то, благодаря чему мы хорошо живем. Страна наша вообще столь хороша, что на нее покушаются враги из-за границы, а также скрытые внутренние враги, не любящие наш язык, нашу веру, наши обычай. Врагов этих мы часто не видим, но оттого они становятся лишь страшнее, поскольку неведомое всегда пугает. И для того,

чтобы не погибнуть, должны мы сплотиться вокруг нашего государя, нашей веры и наших ценностей, перенося ради этого, если необходимо, всяческие невзгоды. «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», — любят говорить националисты.

Социалистические идеи порождают опасность революции. Как ни парадоксально, они прямо вытекают из хода модернизации, поскольку вызревают лишь в городской среде, где человек, с одной стороны, оторван от консервативной сельской традиции, а с другой — подвергается агитации. Точнее, надо сказать, что социалистические идеи порождают эту опасность в ситуации, когда модернизация уже активно идет, но еще не дала своих настоящих плодов. То есть пока пролетарию, как отмечали Маркс и Энгельс, нечего «терять, кроме своих цепей».

Националистические идеи порождают опасность войны. Как ни парадоксально, эта опасность тоже проистекает из модернизации, поскольку идея так называемой маленькой победоносной войны используется государством для сплочения народа в ситуации, когда возникает угроза революции. Однако на деле государство редко может эффективно контролировать ход войны и делать ее действительно маленькой и победоносной. Разрастающаяся в масштабах неконтролируемая война может стать по-настоящему бедоносной и усилить вероятность революции.

Конечно, и народные восстания, и большие войны существовали до того, как модернизация переселила значительную часть крестьян в города. Однако крестьянские восстания не несли в себе идею радикального переустройства мира, а войны не оборачивались таким распадом государства, за которым следовала социалистическая революция. Именно в результате модернизации угрозы усилились.

Таким образом, можно сказать, что модернизация — это одновременно и шанс сделать общество более богатым, и опасность получить невиданные ранее катаклизмы. Модернизация — это бурный переход от относительно стабильного традиционного общества к относительно стабильному модернизированному. Это — переход опасный для любой страны. Причем чем больше внутри страны накоплено различных противоречий, тем больше вероятность срыва в революцию.

А противоречий обычно больше в крупных имперских странах, где, помимо острого конфликта рабочих с капиталистами, есть так-

же конфликты между различными этносами, между религиозными конфессиями, между богатыми и бедными регионами, между старой аристократией и нуворищами-буржуа. Примерно такой была картина революционной России [Травин, Гельман, Заостровцев 2017: 69–84]. Чем сложнее устройство страны в эпоху модернизации, тем больше вероятность срыва в революцию. А чем проще устройство — тем больше вероятность того, что модернизация даст позитивные социально-экономические плоды без срыва.

Впрочем, если процесс модернизации осуществляется политически гладко, это еще не значит, что он проходит совершенно безболезненно для вовлеченного в него человека. Еще одна закономерность модернизации связана с тем, что конфликт между рациональными действиями, необходимыми нам для достижения успеха, и иррациональными стремлениями, препятствующими нашей адаптации к жизни в обществе, не проходит бесследно. Человек — не машина, оптимизирующая свои решения и хладнокровно обеспечивающая реализацию самых рациональных схем. Он не был машиной в эпоху модернизации, не станет машиной и в самом что ни на есть модернизованным обществе, склонном к рациональным действиям. Размышляя теоретически о том, какие действия следует предпринимать для того, чтобы встроиться в процесс модернизации и оптимизировать выгоды, мы вполне способны быть «мудрецами». Но как же трудно реализовывать мудрые решения на практике, постоянно борясь со своими естественными желаниями!

В случае с Василием Ивановичем, лежащим на диване, потакание естественным желаниям кажется нам обычным слабоволием. С презрением мы отнесемся к тому, кто не способен прерывать наслаждение ради того, чтобы зарабатывать деньги себе на жизнь. Однако в действительности человек постоянно сталкивается со значительно более сильными конфликтами, буквально раздирающими его на части. И если он постоянно принимает рациональные решения, подавляя в себе иррациональное, дело может кончиться печально для его психики.

Труд в модернирующем обществе осуществляется в соответствии с графиком, не считающимся с естественными проблемами работника — с его физической усталостью, недомоганиями, депрессией. Несмотря на наличие выходных и отпусков, мы редко можем прервать

труд ради отдыха именно тогда, когда организм этого требует. И мы начинаем «ломать» организм для того, чтобы нас не уволили.

Наши усилия далеко не всегда поощряются по заслугам. Нередко в отношениях с начальством возникает обида на незаслуженные наказания или даже на то, что оно не замечает, насколько хорошо мы выполняем свою работу. И вот возникает стремление возмутиться несправедливостью, которое рациональный работник вынужден в себе подавлять. А это опять приводит к «ломке» организма.

Человеку свойственно проявлять свою индивидуальность, высказывая оригинальные суждения или трансформируя свой облик. Одни возмущаются действиями властей, другие недостаточно толерантны в отношении определенных групп населения, третья пренебрегают дресс-кодом, четвертые уклоняются от общения с коллегами. Но адаптация к принятым в обществе правилам требует сдерживать проявления индивидуальности и становиться конформистами. Вновь организм страдает.

Подобных примеров можно приводить много. Чем более жестко рационально организовано общество, тем сложнее в нем человеку и тем больше вероятность, что он либо сорвется и поведет себя иррационально со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями, либо будет страдать от стрессов, разрушающих его организм. Успешная психотерапия может, конечно, смягчать эту проблему модернизации, однако она не способна снять ее полностью.

В модернизирующемся обществе человек более свободен, чем в традиционном. У него появляется выбор. Большой город, в котором сочетаются разные ценности, разные образы жизни, разные варианты карьеры, предоставляет человеку возможность найти себя, тогда как традиционный сельский мир даже не предполагает появления подобного ищущего себя человека. И тем не менее выбор всегда сложен, а зачастую трагичен.

Модернизация — это трудное испытание. И даже модернизированное общество — вовсе не рай земной [Травин 2015]. Не стоит критиковать современный мир за то, что он не стал раem. Теория модернизации подобной перспективы, конечно, не предполагает. Теория модернизации просто объясняет нам, как и почему меняется мир. А также что можно от этих перемен ожидать.

Литература

- Аджемоглу Д., Робинсон Д.* Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015.
- Асман А.* Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- Голдстоун Д.* Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории. 1500–1850. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
- Инглхарт Р., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.
- Лал Д.* Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты. М.: ИРИСЭН, 2007.
- Лахман Р.* Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М.: Территория будущего, 2010.
- Лахман Р.* Что такое историческая социология? М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.
- Манн М.* Источники социальной власти. Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н. э. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
- Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. М.: Изд-во политической литературы, 1978.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 2 т. М.: ОГИЗ, 1948. С. 1–39.
- Мартинелли А.* Глобальная модернизация. Переосмысливая проект современности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
- Медведев Д.* Россия вперед // Президент России: официальный сайт. 2009. 10 сент. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/5413> (дата обращения: 30.06.2019).
- Мелихов А.* Броня из облака: Эссе. СПб.: Лимбус Пресс; Изд-во Константина Тублина, 2012.
- Миронов Б.* Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014–2015.
- Мокиф Д.* Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция. 1700–1850 гг. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.
- Моррис Й.* Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще. Законыомерности истории, и что они сообщают нам о будущем. М.: Карьера Пресс, 2016.

- Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997.
- Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000.
- Померанц К. Великое расхождение. Китай, Европа и создание современной мировой экономики. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017.
- Румянцев А. (ред.) Политическая экономия: учебник: в 2 т. М.: Изд-во политической литературы, 1977.
- Стародубровская И. Драма модернизационной теории. Статья 1. Модернизация как рецепт и как проблема // Общественные науки и современность. 2019. № 1. С. 156–168.
- Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Территория будущего, 2009.
- Травин Д. Крутые горки XXI века. Постмодернизация и проблемы России. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.
- Травин Д. «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
- Травин Д., Гельман В., Заостровцев А. Российский путь: Идеи. Интересы, Институты, Иллюзии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.
- Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация: в 2 кн. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2004.
- Травин Д., Маргания О. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2011.
- Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 65–134.
- Хайек Ф. фон. Конституция свободы. М.: Новое издательство, 2018.
- Яковенко И. Познание России: цивилизационный анализ. М.: РОССПЭН, 2012.
- Lerner D. The Passing of Traditional Society. Modernizing the Middle East. Glencoe, Illinois, The Free Press, 1958.

Владимир Гельман

«Либералы» versus «демократы»: идейные траектории постсоветской модернизации

Какова роль идей в процессах модернизации в целом и в постсоветской России в частности? Специалисты расходятся в оценках вклада идей в строительство новых институтов и практик в различных странах и по-разному отвечают на вопрос о том, являются ли идеи причиной преобразований или же выступают их следствием. Однако применительно к анализу процессов политической, экономической и социальной трансформации в постсоветской России, скорее, преобладает представление о том, что идеи носили вторичный характер по отношению к интересам ключевых игроков [Травин, Гельман, Застровцев 2017]. Означает ли это, что роль идей в России конца XX — начала XXI века была и остается настолько незначительной, что ею можно пренебречь, поставив в фокус политического анализа деятельность оппортунистов — политиков и бизнесменов, которыми движут исключительно корыстные мотивы? Хотя опыт постсоветской России демонстрировал немало примеров такого рода, было бы неверным сводить процессы экономических и политических изменений в нашей стране исключительно к борьбе противоборствующих интересов, полностью выводя за скобки идеи.

Между тем идеи и идеологии (далее эти термины будут употребляться как синонимы) в процессе модернизации в современной России демонстрировали существенное отличие от ряда других посткоммунистических стран, переживавших сходные процессы в тот же период времени. В странах Восточной Европы идеи строительства демократии и перехода к рыночной экономике взаимно дополняли и усиливали друг друга в процессе посткоммунистической трансформации от падения прежних режимов до вступления в состав Европейского союза, что позволило более или менее успешно разрешить «дилемму

одновременности» [Offe 1991] политических и экономических преобразований. Такое сочетание идей во многом помогало этим странам более или менее успешно и одновременно решить ключевые задачи преобразований в относительно короткие сроки. Однако в России 1990-х годов либеральные и демократические идеи (и их носители) вступили в острое противоречие: представления о том, что путь страны к экономическому благополучию может и должен обойтись без демократии, которая способна создать помехи экономическим реформам, если не обратить их вспять, не только преобладали в публичных дискуссиях, но и влияли на принятие политических решений. В результате идеи строительства демократии сперва оказались за рамками перечня приоритетов политической повестки дня, затем принесены в жертву идеям экономической модернизации страны, а в 2000–2010-е годы были исключены из меню опций правящих групп. Напротив, идеи строительства эффективной рыночной экономики доминировали в официальном дискурсе правящих групп и служили важным ориентиром при выработке политического курса как в 1990-е, так и в 2000-е годы, хотя их влияние со временем ослабевало. Наконец, в 2010-е годы они также оказались сняты с политической повестки дня, и на сегодняшний день их воздействие на политические процессы и политический курс в России явно незначительно.

Чем объяснить «развод» демократических и либеральных идей в постсоветской России, который произошел в 1990-е годы, и их последующий упадок в 2000–2010-е годы? И был ли обусловлен нынешний упадок и демократических, и либеральных идей в России их «разводом», который произошел в 1990-е годы? Эти идеи продвигались их носителями — политиками, аналитиками, публицистами (в рамках данной работы обозначенных, соответственно, как «демократы» и «либералы»), роль которых в формировании, эволюции и борьбе идей в конце 1980-х — начале 1990-х годов была неоценима. Я утверждаю, что «развод» демократических и либеральных идей в России 1990-х годов отчасти стал следствием тех процессов, которые переживала страна накануне и в ходе перестройки. Он не был изначально задан и предопределен, но важнейшие события конца 1980-х — начала 1990-х годов наложили неизгладимый отпечаток на идейные траектории «либералов» и «демократов» и усугубляли противоречия между этими течениями. К ним относятся слабость

и неоформленность реформистских идей на момент начала перестройки, межпоколенческие противоречия между шестидесятниками и семидесятниками, а также ошибочные оценки и ожидания перспектив страны на фоне высокой неопределенности. В 1990-е годы объективно обусловленное снижение роли идей и их носителей по мере становления нового политico-экономического порядка в России повлекло за собой их последующий упадок: идеи вскоре уступили место интересам, которые в гораздо большей степени стали влиять на траектории последующего развития страны.

Идеи и модернизация: случай России

Различные работы, посвященные постсоветскому политico-экономическому развитию в России, отталкиваются от тезиса о том, что идеи играли в этих процессах не слишком значимую роль. Однако это не означает, что в ходе анализа посткоммунистической модернизации в России идеями можно пренебречь. Во-первых, идеи были и остаются важны для определения приоритетов политического курса и государственного строительства в стране. Во-вторых, идеи были весьма значимы в отдельных «точках перелома», когда политики делали стратегический выбор в пользу тех или иных вариантов дальнейшего развития страны. В-третьих, наконец, сам по себе факт низкого влияния идей на процессы преобразований в стране также нуждается в объяснении. Идеи воздействовали на поведение представителей элит и масс в ходе модернизации различных стран [Травин, Маргания 2004] и служили важным двигателем преобразований периода перестройки в СССР, когда дискуссии сторонников различных реформистских идей захлестывали страну. Что же повлекло за собой упадок этих идей на протяжении последующего десятилетия и далее?

Идеи в рамках данной работы рассматриваются инструментально, то есть не как набор неких разработанных политических доктрина, а как способ восприятия проблем. Идеи значимы для процесса модернизации в силу своих позитивных и нормативных функций. Они помогают элитам и массам сформулировать свои представления о желаемом общественном устройстве и о способах его достижения, вынести суждение о соответствии статус-кво этим представлениям

и минимизировать количество информации, необходимой для принятия решений (что особенно значимо в условиях неопределенности). Из этого понимания следует, что спрос на идеи возрастает в периоды бурных перемен, которые характерны для радикальных трансформаций, подобных тем, что переживала Россия в 1980-е и 1990-е годы. Новые идеи возникают и продвигаются производителями и распространителями, которые пытаются как можно выгоднее «продать» их элитам и массам и завоевать поддержку на идейном рынке, вытесняя и/или поглощая конкурентов. Иногда формирование и продвижение новых идей занимает несколько десятилетий, но порой новые идеи переживают бум гораздо быстрее. При этом одни новые идеи возникают спонтанно и эндогенно, в то время как другие импортируются из одних политических и интеллектуальных контекстов, преломляясь сквозь призму восприятия их «импортерами» и реципиентами и порой переживая довольно сильные метаморфозы. Сочетание меняющейся динамики спроса и предложения идей наряду с эффектами деятельности различных агентов по их продвижению во многом определяют исход идейной борьбы в период радикальных перемен, и современная Россия в этом плане вовсе не выступает исключением.

Однако Советский Союз вступил в период трансформаций во второй половине 1980-х годов в довольно своеобразной идейной ситуации. С одной стороны, на протяжении долгих десятилетий рынок идей был монополизирован господствовавшей в стране официальной версией марксизма-ленинизма, в то время как альтернативные идеи проникали на этот рынок обходными путями, сталкиваясь с догматизмом со стороны официального истеблишмента, боровшегося против проявлений инакомыслия. С другой стороны, в отсутствие условий для развития социальных и гуманитарных наук, которые могли бы создать интеллектуальную среду для разработки новых идей, востребованных в ходе преобразований, дискуссии о путях развития страны вынужденно ограничивались узкими кругами участников. Закрытость СССР от внешнего идейного влияния также была высока — несознательно выше, чем в социалистических странах Восточной Европы. Поэтому знания советских специалистов о зарубежном опыте модернизации в лучшем случае были весьма частичны и фрагментарны, а об их вкладе в международную дискуссию говорить почти не приходилось. Как следствие, взгляды российских интеллектуалов на

проблемы политического и экономического развития страны и мира, за редким исключением, были неоформленными и не слишком последовательными: не приходится удивляться тому, что они подчас сильно менялись под воздействием обстоятельств. Оторванность от международной среды на протяжении долгих десятилетий вызвала у российских интеллектуалов бум представлений об «особом пути» России и об уникальности и специфичности ее прошлого, настоящего и будущего [Травин 2018].

Внезапное и полное разрушение прежней монополии на советском идейном рынке, произошедшее в конце 1980-х годов, стало своего рода «большим взрывом», который протекал на фоне стремительного изменения ситуации в стране. Запреты пали на фоне резкого взлета спроса на новые идеи со стороны как элит, искавших варианты выхода из нараставшего кризиса, так и общественности, искавшей ответа на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Образовавшийся дефицит на идейном рынке заполнялся спонтанно: импорт идей из-за рубежа сопровождался обращением к дореволюционному идейному наследию, моральные авторитеты воспринимались чуть ли не как пророки, мода на идеи и их лейблы менялась с невероятной скоростью, а сами идеи подчас не встречали адекватной критической рефлексии. Барьеры выхода на идейный рынок, вчера еще запретительно высокие, вдруг оказались невероятно низкими, порой открывая дорогу прежде маргинальным идеям. Тем, кто вырабатывал и/или продвигал новые идеи, оказалось не так уж сложно донести их до резко расширившейся аудитории: гораздо сложнее оказалось закрепиться на идейном рынке и оказать не разовое, а систематическое интеллектуальное воздействие как на принятие и выработку политических решений, так и на умы и сердца сограждан. Масштабные перемены в стране ставили на повестку дня все новые вопросы, и оттого недавние интеллектуальные гуру вскоре оказывались почти что позабытыми «героями вчерашних дней».

Более того, по мере дальнейших преобразований в стране спрос на новые идеи начал снижаться, да и круг проблем, стоявших на текущей повестке дня в России, кардинально изменился: то, что обсуждалось в конце 1980-х, утратило актуальность в середине 1990-х. Политическая повестка дня оказалась насыщена борьбой групп интересов, а идеи оказывали все меньшее воздействие на принятие политических

решений. В 2000-е годы российские власти если и нуждались в идеях, то, скорее, лишь в политико-технологическом ключе. Общественность, с энтузиазмом воспринимавшая идеиную борьбу на рубеже 1980-х и 1990-х годов, со временем все меньше обращала внимание на идеи и их носителей, которые, в свою очередь, также эволюционировали со временем. На смену прежней монополии на идеином рынке нашей страны пришел плюрализм, и в сегодняшней России без труда можно обнаружить сторонников самых разных идеиных течений, как импортированных из-за рубежа, так и «доморощенных». Отличие России в этом плане от многих других развитых стран состоит в том, что конкуренция идей не проявляется на электоральной арене и лишь в ограниченной мере затрагивает выработку политического курса. Тем не менее идеи являются значимым фильтром для восприятия проблем российскими элитами и политическими лидерами, которые транслируют свои представления на уровень масс, и наследие идеиной борьбы 1980–1990-х годов по-прежнему значимо для понимания логики этого восприятия. Да и сами идеиные течения данного периода не исчезают с российской политической карты: они меняются со временем, но опыт периода перестройки, распада СССР и турбулентных «лихих» 1990-х до сих пор служит важнейшей «точкой отсчета» для восприятия как текущих проблем и тенденций, так и рецептов дальнейших перемен (или отсутствия таковых).

«Демократы» без либерализма: утраченные иллюзии

Основными носителями демократических идей в период перестройки в Советском Союзе выступили активные представители поколения шестидесятников: эти идеи продвигали в жизнь прежде всего те интеллектуалы и общественные деятели, становление политических взглядов и развитие профессиональных и общественно-политических карьер которых пришлось на период между XX съездом КПСС и подавлением Пражской весны.¹ Хрущевская оттепель и связанные

¹ Здесь и далее использованы материалы ранее опубликованной статьи [Гельман, Травин 2013].

с ней большие надежды на успешное развитие страны сформировали (и/или существенно изменили) мировоззрение шестидесятников. Однако период застоя, охвативший страну во время правления Леонида Брежнева, не только надолго задержал восхождение многих представителей этого поколения по карьерной лестнице, но и сделал неактуальными немалое число их идей, сформированных в период оттепели: поколение шестидесятников пережило своего рода «замораживание» на два десятилетия. Когда шестидесятники, постаревшие на два десятилетия, оказались в период перестройки на авансцене общественной и политической жизни страны, то казалось, что Советский Союз как будто вернулся вдруг на некоторое время в эпоху оттепели. «Дети XX съезда» заняли многие ключевые позиции во властных структурах, доминировали в перестроичной журналистике, предлагали ключевые научные концепции развития общества и на некоторое время стали «властителями дум». Те, кто присоединился к «демократам» в период перестройки и позже, во многом ориентировались на шестидесятников и отчасти до сих пор следуют заложенным ими интеллектуальным и идеяным традициям.

Для «демократов» времен перестройки основной целью была дальнейшая реализация программы оттепели: политический плюрализм в СМИ и на уровне принятия решений, безвозвратное осуждение политических репрессий, расширение свобод и устранение многочисленных запретов советской эпохи (цензура в СМИ, ограничения зарубежных поездок и т. д.). По сути, речь шла о дальнейшей политической либерализации советского режима, и на первом этапе перестройки эти предложения были достаточно робкими, в то время как наступившие перемены оказались слишком внезапными — демократизация и свободные выборы очень скоро привели к расширению прежних пределов мечтаний: на время показалось, что желанные свободы уже вот-вот близки и достаточно лишь преодолеть последние барьеры, чтобы, говоря словами одного из перестроичных публицистов, «стать Европой» [Баткин 1988]. Переход к демократии виделся ими как результат уступок прежнего руководства перед напором жаждущих свобод народных масс. Но, столкнувшись с реальными проблемами трансформации, «демократы» зачастую оказывались не готовы к стоящим перед страной проблемам — в лучшем случае предлагаемые ими решения отличались наивностью, в худшем — они оказывались

попросту не в состоянии сформулировать осмысленные и реалистичные позитивные альтернативы стремительно менявшемуся статус-кво.

Идеи «демократов» во многом отражали систему координат, заданную коллективным опытом периода оттепели со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Эта система координат изначально предполагала постепенные и частичные изменения сложившихся в СССР политических и экономических отношений (при приоритете первых над вторыми), а не их полный пересмотр и замену — к такому повороту событий многие «демократы» оказались не готовы. Она также не могла учитывать и изменений, произошедших со временем оттепели в стране и мире: шестидесятники шли в перестройку как в последний бой своей (уже прошедшей) войны, вооруженные не только весьма догматическими, но и устаревшими идеями. Неудивительно, что этот бой в конечном счете был ими проигран, а сами идеи оказались дискредитированы. Не виной, а бедой «демократов» стало то, что они по своему опыту и мировоззрению были недостаточно готовы для использования тех возможностей трансформации общества, которые предоставила им перестройка.

Эволюции идей шестидесятников прежде всего препятствовало отсутствие возможности для воплощения слова в дела. Дискуссии о преобразованиях в СССР, которые велись с середины 1950-х до середины 1980-х годов, практическим ничем не заканчивались. Соответственно, для участников этих дискуссий распространение идей было важнее их воплощения в жизнь: о практическом применении своих идей, о том, чтобы стать настоящими реформаторами, шестидесятники вряд ли всерьез думали, поскольку времена будущих реформ казались им невероятно далекими. Поэтому все силы, весь талант, вся страсть шестидесятников обращались на то, чтобы перехитрить советский режим и высказаться. Когда же час реформ пробил, многие «демократы» не смогли выработать реальные альтернативы тому курсу, который пытались проводить руководители страны, и тем более не были готовы к воплощению их в жизнь. Помимо прочего, далеко не все «демократы» способны были взять на себя личную ответственность за принятие и реализацию ключевых решений. Характерно, например, что в 1992 году в поисках авторитетной фигуры, способной заменить Егора Гайдара на посту премьер-министра России, представители команды Бориса Ельцина обратились к академику Юрию Рыжову.

Яркий интеллектуал-шестидесятник, в 1991 году назначенный послом России во Францию, ответил отказом, не пожелав менять статусный пост на нелегкую работу по выведению страны из кризиса. Да, многие рядовые активисты «демократов», особенно в провинции, явно недотягивали по своему уровню до того, чтобы успешно участвовать в принятии и реализации значимых решений. Но наиболее способные из них позднее сами многому научились и приобрели солидный управленческий опыт, хотя такие случаи оказались редкими.

Прежний опыт оттепели и ее краха — внезапно дарованных и позднее отобранных свобод — порождал у «демократов» своеобразные комплексы и синдромы. Многие «демократы» перестроечной поры почти панически боялись любых выступлений со стороны радикальных коммунистов и/или русских националистов, хотя эти течения не пользовались существенным спросом на нарождавшемся в те времена идейном рынке [Травин, Гельман, Заостровцев 2017: гл. 1]. Вместе с тем, транслируя свои идеи на публику, «демократы» воспроизводили бинарную оппозицию «против номенклатуры КПСС — за демократию», давая немало поводов для критических высказываний в свой адрес по части того, что демократия воспринималась ими как власть «демократов». Но представления о том, как именно надо решать проблемы страны, у самих «демократов» были весьма размытыми. Они порой предлагали решения проблем национально-государственного устройства СССР в духе «ребята, давайте жить дружно», без серьезного понимания породивших их причин, а лозунг, предложенный осенью 1991 года одним из лидеров «демократов» Юрием Афанасьевым в ответ на вызовы сепаратизма в России — «Россия единая, но делимая», — поставил в тупик даже самих активистов.

Экономическая повестка дня в мировоззрении «демократов» носила периферийный характер. Поддерживая переход страны к рыночной экономике (по принципу «за все хорошее, против всего плохого»), «демократы» по большей части имели смутные представления о путях решения этой проблемы. Поэтому они порой ориентировались на устаревшие образцы и/или предполагали соединение несocomместимых элементов: в целом уровень восприятия нараставших экономических проблем в стране не выдерживал критики. Так, программа блока «Демократическая Россия» в ходе кампании по выборам народных депутатов РСФСР 1990 года сочетала в себе призывы

к равенству всех форм собственности и требования замораживания розничных цен на период перехода к рынку. По свидетельству Виктора Шейниса, программа, по сути, представляла собой компиляцию предложений, которые выдвигались различными демократическими кандидатами [Шейнис 2005, т. 1: 255–259], вообще без какого-либо намека на механизмы практической реализации идей. «Демократы» в своих представлениях о реформах в экономике (и не только) исходили из желаемого, а не из возможного.

По существу, политическая программа «демократов» оказалась выполнена в августе 1991 года, причем не только и не столько в результате их собственных усилий, сколько как результат непреднамеренных последствий непродуманных действий советского руководства во главе с Михаилом Горбачевым. Неудивительно, что крушение прежнего режима, оказавшееся столь внезапным для «демократов», поставило под вопрос их идеи. К выработке новой повестки дня вчерашние «прорабы перестройки» оказались явно не готовы. Однако идеиное лидерство «демократов» еще до августа 1991 года было перехвачено другим течением — «либералами»: по своему багажу, приоритетам и подходам они кардинально отличались от предшественников. Прежде всего отличались друг от друга носители идей: на смену отцам-шестидесятникам пришли дети-семидесятники.

«Либералы» без демократии: политика без иллюзий

Семидесятники формировались в условиях «долгих 1970-х годов» — в период между крахом оттепели и началом преобразований эпохи перестройки. Он характеризовался не только отсутствием значимых преобразований в СССР и стремлением законсервировать статус quo в политике и экономике, но и отсутствием надежд на «светлое будущее», которые были характерны для времен юности и молодости шестидесятников. Новое подрастающее поколение должно было учиться жить сегодняшним днем в условиях тех правил игры, которые задавали тогдашние лидеры страны. Такие условия объективно способствовали развитию прагматизма, а во многих случаях и цинизма. Этот прагматизм мог принимать различные формы: от приспособления к существующей политической системе ради успешной карьеры

и высокой зарплаты до стремления стать квалифицированным специалистом в конкретной области. Как то, так и другое хорошо сочеталось с равнодушием, а то и презрением к официальной коммунистической идеологии. Надо было не мечтать о совершенствовании или тем более трансформации советской системы, не строить «воздушные замки», а добиваться конкретных результатов «здесь и теперь». Однако безразличие семидесятников к официальной идеологии отнюдь не означало их полной нечувствительности к любым идеям. Просто сами идеи воспринимались через призму pragmatisческих интересов, то есть не в нормативном, а в позитивном ключе: не как абстрактные цели развития всего общества, а как средства достижения их собственных целей. Их заботы касались экономики, а политика (в смысле *politics*) в лучшем случае рассматривалась как набор условий и ограничений для проведения политического курса (в смысле *policy*), в худшем — не вызывала интереса. Именно pragmaticское восприятие идей определяло и отношение к основным направлениям преобразований времен перестройки: в отличие от поколения шестидесятников с их неоправданными иллюзиями, у многих семидесятников никаких иллюзий не было изначально.

Семидесятники поддерживали идеи рыночных реформ, видя в них средство избавления от неэффективности советской экономики и повышения жизненного уровня: собственно, такие приоритеты наряду с наработанными знаниями в сфере экономики и сделали их «либералами». Вся остальная система координат (включая сферу политики, но не ограничиваясь ею) оказалась почти полностью привязана в восприятии «либералов» к категориям экономической эффективности. А вот идеи демократии, вышедшие на передний план в конце 1980-х, были восприняты сугубо инструментально и как минимум неоднозначно. Если политическая либерализация как средство снятия наиболее бессмысленных и раздражавших запретов (ограничения доступа к информации, возможностей поездок за рубеж и так далее) сама по себе ими одобрялась, то представления о демократии как о власти народа, разделении властей, защите прав меньшинств вызывали у «либералов» (в отличие от «демократов») смешанную реакцию. Более того, на фоне усугублявшегося кризиса прежней системы в период перестройки длинные и подчас бесплодные дискуссии на общеполитические темы все чаще воспринимались ими как бесполезная «говорильня»,

а многие шаги советского руководства в сфере экономической политики вызывали глубокие разочарования.

Именно эти различия в восприятии и разность в приоритетах (политика у «демократов» versus экономика у «либералов») и вызвали первые идеинные размежевания между «демократами» и «либералами» в конце 1980-х: там, где «демократы» видели борьбу «хорошего» и «плохого», воспринимая перестройку как борьбу ее идеиных сторонников и противников, «либералы» видели борьбу плохого с худшим, то есть борьбу между нежеланием ничего менять в экономике и в управлении страной и некомпетентными попытками исправить ситуацию в стране с помощью полумер, лишь усугублявших кризис. Сходным образом, если «демократы» воспринимали массовую мобилизацию общественных движений перестроечной поры как признак демократизации, для «либералов» она выглядела как один из признаков «смут» и как источник рисков для экономики и управления государством [Гайдар 2009]. Эти различия в восприятии вызывали у «либералов» стремление к поиску альтернативных решений в сфере *politics*. Неудивительно, что в противоположность «дилемме одновременности» частью «либералов» были подхвачены тезисы о необходимости рыночных реформ в условиях жесткого авторитарного режима.

Если для «демократов»-шестидесятников, переживших сталинские репрессии и отказ от них во времена оттепели, авторитаризм рассматривался как однозначно неприемлемое решение, то для «либералов»-семидесятников оно было не более чем одной из возможных опций для проведения экономических преобразований. В связи с этим Сергей Васильев и Борис Львин отмечали нарастающий разрыв между острой необходимостью в проведении глубоких и болезненных экономических реформ и намерениями властей и демократической общественности растянуть этот процесс во времени, опираясь на мягкие и не оправдывающие себя методы их проведения. По их мнению, у руководства СССР возрастили стимулы к тому, чтобы прибегнуть к авторитаризму во имя проведения реформ, в то время как на уровне республик страны могли возникнуть стимулы к демократизации с опорой на национализм [Васильев, Львин 1989]. Сходные соображения легли в основу «Аналитической записки по концепции перехода к рыночной экономике в СССР», подготовленной в марте 1990 года Ассоциацией социально-экономических наук [Жестким курсом 1990]. Она однозначно

предполагала неизбежность и безальтернативный характер авторитаризма во имя рыночных реформ. В реальности такая комбинация политических и экономических условий для большинства посткоммунистических стран оказалась не характерна: на деле авторитаризм нигде не способствовал рыночным успехам, да и опыт разворачивавшихся на глазах «либералов» рыночных реформ в Восточной Европе как раз говорил об ином.

Не будет преувеличением утверждать, что к моменту начала экономических реформ в России осенью 1991 года российские «либералы» имели достаточно целостное представление о том, как следует осуществлять преобразования, какую экономику надо построить в результате реформ и какое политическое устройство необходимо и желательно. Демократия рассматривалась ими если не как препятствие на пути экономического прогресса, то как минимум как предмет роскоши, приобретение которого для России следовало отложить на потом. Имманентно присущие демократии «дефекты» — электоральная подотчетность, риски популистской экономической политики и ограничения «свободы рук» правительства — рассматривались как не совместимые с рыночными реформами. И хотя последующие события довольно существенно повлияли на индивидуальные траектории отдельных «либералов», многие из них сохранили и даже упрочили это восприятие мира политики, которое сформировалось накануне распада СССР. Более того, это восприятие спустя годы и десятилетия воспроизвелоось в многочисленных программных документах российских властей («Стратегия-2010», «Стратегия-2020», etc.), в разработке которых «либералы» принимали самое активное участие.

Две дороги к одному обрыву

Осень 1991 года ознаменовала начало смены поколений в российской политике. «Либералы»-семидесятники в ходе гайдаровских реформ стали выдвигаться на ведущие позиции не только в правительстве, но и в публичной сфере, а «демократы»-шестидесятники начали движение по нисходящей траектории — и не только в силу возрастных ограничений. Повестка дня «демократов» казалась тогда выполненной, а «либералы» выглядели именно теми, кто только

и мог решить задачу «тройного перехода». Не вдаваясь в полемику о том, возможны ли были в 1990-е годы в России иные варианты проведения экономических и политических реформ и можно ли было осуществить их более успешно, чем это сделали «либералы», стоит отметить, что многие черты поколения семидесятников наложили немалый отпечаток на траекторию преобразований. В то время как дискуссии уступили место конкретным мерам, выбор приоритетов и средств достижения целей осуществлялся ими исходя из прагматической повестки дня: представления не о желаемом, а о реально возможном, краткосрочный горизонт планирования, гибкость и склонность к компромиссам сочетались с их готовностью и умением добиваться поставленных целей. Кроме того, неудачный опыт предшественников — «демократов»-шестидесятников, которые в период перестройки упустили свой шанс на преобразование прежней системы, — давал «либералам»-семидесятникам ясный сигнал, как именно поступать не следует. В такой ситуации подходы «отцов» и «детей» почти неизбежно оказывались зеркально перевернутыми, в том числе в отношении выбора последовательности преобразований: «либералы» готовы были пожертвовать демократией ради рыночных реформ.

Когда в конце 1991 года Россия «заморозила» все существовавшие на тот момент политические институты и прежнее национально-государственное устройство страны, то приоритетом для политических элит (и для общественного мнения) оказалось проведение в стране экономических преобразований. Сформированное под руководством Ельцина правительство, экономический блок которого возглавил Егор Гайдар, начало либерализацию розничных цен с января 1992 года. Надежды «либералов» были связаны с тем, что радикальные экономические реформы за относительно недолгий промежуток времени могли бы вывести страну из кризиса, после чего настало бы время для демократизации политического режима. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Финансовой стабилизации правительству России быстро добиться так и не удалось: в итоге реформы российской экономики по ряду причин оказались крайне растянуты во времени: «долина слез» неизбежного трансформационного экономического спада оказалась насыщенной драматическими поворотами и завершилась дефолтом и девальвацией российской валюты в августе 1998 года. В этом процессе немалую роль играли и субъективные факторы, связанные

с «политической тактикой» реформ, которые проводились самими «либералами» и их союзниками [Shleifer, Treisman 2000].

Эта тактика, по сути, представляла собой цепь соглашений не с теми, кто проиграл от первого этапа реформ, а, напротив, с теми, кто от него выиграл и оттого не был заинтересован в дальнейших преобразованиях, — олигархами, региональными лидерами и другими соискателями ренты. «Либералы»-семидесятники (в отличие от шестидесятников) были готовы адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и при необходимости легко шли на компромиссы для того, чтобы добиться возможного, и ориентировались на краткосрочные задачи, а не на заоблачное «светлое будущее». Отчасти этим обстоятельством можно объяснить то, что по ряду важных вопросов реформирования экономики команда Гайдара чересчур легко сдавала свои позиции, надеясь на тактический выигрыш от компромиссов и стремясь получить желаемый результат в иных сферах. Однако политические издергки такого варианта проведения реформ оказались довольно велики не только для самих реформаторов, но и для страны в целом: в 2000-е и 2010-е годы результаты реформ во многом были пересмотрены. Та политика, которую проводили «либералы» в 1990-е годы, в большинстве случаев противоречила их собственным идеям, сформулированным до начала экономических реформ.

Отчасти причина такой непоследовательности была связана с тем, что изначально «либералы» сами приняли на себя роль технократов-реформаторов, не стремясь выступать в качестве независимых акторов на российской политической сцене и не вступая в публичную борьбу за власть, что делало их позиции весьма уязвимыми. Когда же этот выход состоялся в ходе парламентских выборов 1993 года, то «либералы» столкнулись не только с тем, что их идеи и лидеры пользовались лишь ограниченной поддержкой, но и с острой конкуренцией со стороны «демократов», которые после 1991 года вроде бы оказались списаны со счетов. Точкой разрыва стали события сентября-октября 1993 года, ставшие пиком политической поляризации в стране. «Либералы», которые однозначно выступали на стороне Ельцина, активно поддержали распуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета России, воспринимая эти шаги как устранение препятствий на пути реформ. В то же время «демократы» если не явно осудили действия Ельцина, то по меньшей мере отмежевались от них. Так идейное расхождение

между «либералами» и «демократами» оформилось и на политическом уровне — между блоком «Выбор России» и его преемниками — «Демократическим выбором России» и «Союзом правых сил», с одной стороны, и «Яблоком» — с другой.

Таким образом, «либералы» и «демократы» стали конкурентами в политической борьбе, и их отношения оказались весьма напряженными. Связано это было с тем, что институциональные и политические стимулы к коалиционной политике российских партий были весьма невелики: единственным возможным вариантом выстраивания коалиций было «недружественное поглощение» более мелких образований более крупными. Разность потенциалов ВР-ДВР-СПС и «Яблока» была не настолько велика для такого поглощения, а претензии более близкого к Кремлю и обладавшего большими ресурсами ВР на то, чтобы задушить «Яблоко» в своих объятиях, встречали резкую критику со стороны «демократов». С точки зрения позиционирования обеих партий по наиболее значимым вопросам их подходы отличались довольно кардинально: «либералы» поддержали на референдуме декабря 1993 года президентский проект конституции и на президентских выборах 1996 года активно выступили за переизбрание Ельцина. «Демократы», напротив, после острых дискуссий отказались поддержать на референдуме проект конституции, Явлинский баллотировался в ходе президентских выборов 1996 года, и во втором туре «Яблоко» отказалось поддержать Ельцина. При этом «демократы» из «Яблока» разрывались между сближением с «либералами» и дистанцированием от них. На свою беду, «Яблоко» так и не удалось однозначно сформулировать идеиную альтернативу «либералам» в части предлагаемого ими политического курса. Позиции партии в целом были несколько более левыми, чем у конкурентов-«либералов», отличаясь в особенности в части подходов к приватизации. Но эти разногласия не всегда были понятны сторонникам обоих течений, из-за чего многие разногласия «демократов» и «либералов» воспринимались наблюдателями по большей части лишь как проявления персональных конфликтов. В свою очередь, «либералы» также отнюдь не представляли собой монолитный блок, однако их внутренние противоречия касались тех аспектов российской политики, которые выходили за пределы экономической повестки дня: в отношении экономики позиции «либералов» оставались более или менее прежними,

хотя в своей практической деятельности «либералы» им следовали отнюдь не всегда.

Последующие события после 2003 года, когда ни «либералы», ни «демократы» не попали в Государственную Думу четвертого созыва, продемонстрировали глубокий упадок обоих политических лагерей. «Либералы» вскоре пережили размежевание в своей среде на «системных» лоялистов Кремлю и «несистемных» критиков Кремля, сблизившихся с «демократами», которые, в свою очередь, все более политически маргинализовались. Но, абстрагируясь от деталей текущих политических тенденций в стране, следует задаться вопросом о причинах и механизмах идеиной борьбы между «либералами» и «демократами» в России, о ее влиянии на траектории развития страны и о перспективах реформистских идей в будущем.

Вместо заключения: взлет и падение реформистских идей

Почему одни идеи оказывают воздействие на процессы общественных преобразований, а другие нет? Ответ на этот вопрос может быть дан сквозь призму как «спроса», так и «предложения» на рынке идей. Спрос на идеи возрастает в периоды, когда ситуация в тех или иных обществах воспринимается как кризисная и элитами, и общественным мнением: идеи помогают оценивать ситуацию и принимать значимые решения в условиях неопределенности. Но по мере исчерпания неопределенности спрос на идеи может падать, при этом оставляя не у дел их производителей и распространителей. С этой точки зрения взлет реформистских идей во времена перестройки и упадок идей «либералов» и «демократов» в 2000-е годы могли быть объяснены как следствие динамики на стороне идейного спроса. До начала перестройки спрос на альтернативные идеи был искусственно ограничен, а после краха СССР, по мере консолидации нового политико-экономического порядка в России, идеи «либералов» и «демократов» перестали быть востребованы. Новый всплеск спроса в 2010-е годы повлек за собой выход на авансцену идей, далеких от модернизации, в то время как идеям демократии и рынка места на идейном рынке попросту не нашлось.

Однако анализ спроса на идейном рынке должен быть дополнен анализом предложения идей с точки зрения действий их производителей и распространителей. Хотя предложение идей не всегда напрямую связано с их воздействием на текущую повестку дня, но без оформленных идей и активных усилий различных агентов по их продвижению говорить о влиянии идей попросту не приходится. Случай России конца 1980-х — начала 2000-х годов демонстрирует дисбаланс спроса и предложения на идейном рынке. Предложение идей со стороны «демократов» носило слишком общий характер и было слабо продумано, а производители и распространители не готовы были к тому, чтобы удовлетворить внезапно возникший спрос со стороны элит и общественности на эти идеи. Предложение идей со стороны «либералов» хотя и было более продуманным и целостным, но оно концентрировалось лишь на строительстве рыночной экономики и ориентировалось на разовое применение в конкретном контексте преобразований. В результате «либералам» благодаря удачному для них стечению обстоятельств (смена поколений на фоне неудовлетворенности идеями «демократов») удалось в начале 1990-х годов одержать победу на рынке реформистских идей, но в среднесрочной перспективе идейной борьбы как «либералы», так и «демократы» потерпели тяжелое поражение.

Поражение «демократов» и «либералов» в борьбе идей отнюдь не говорит о том, что их идеи оказались бесполезны и не сыграли значимой роли в трансформации России в конце XX века — такие оценки были бы явно несправедливы. Тот факт, что наша страна смогла построить рыночную экономику (хотя и весьма неэффективную) и провозгласила себя демократией, декларировав принципы политических и гражданских свобод, во многом стал следствием продвижения реформистских идей. Хотя производители и распространители этих идей в конце 1980-х — начале 1990-х годов вряд ли узнали бы в России конца 2010-х годов воплощение своих замыслов, но реформистские идеи помогли вывести нашу страну из того тупика, в котором она находилась на момент начала перестройки, и в немалой мере помогли тому, что этот выход стал необратимым. Но выход из тупика прошлого сам по себе не предотвращает попадания в новые тупики в будущем — к такому развитию событий в России начала XXI века ни «демократы», ни «либералы» готовы не были.

Что нового могут принести в борьбу идей в России новые поколения «демократов» и «либералов» в отличие от своих предшественников? Окажутся ли их идеи востребованы в обозримом будущем, и если да, то в каком ключе? Ответ на эти вопросы выглядит как минимум неочевидным. На первый взгляд, «демократы» после краха 2000-х годов более или менее успешно нашли себя в нише правозащитной деятельности, сохранив «ядро» своих производителей и распространителей. Но «нишевый» характер идеи, хотя и позволяет воспроизвести прежние идеалы, объективно оставляет мало шансов на то, что при появлении в России нового спроса на демократические идеи «демократы» окажутся востребованы. Неочевидными выглядят и попытки трансформировать идеи «демократов» посредством прививки популизма, предпринимаемые в 2010-е годы Алексеем Навальным. Сложнее оценить перспективы российских «либералов», чьи идеи (как и их носители) после краткосрочного успеха во многом оказались — справедливо или нет — дискредитированы в восприятии российской общественности. Приход нового поколения пока не изменил идеиный ландшафт в этом политическом лагере, а новые идеи пока не настолько оформлены, чтобы всерьез претендовать на борьбу за умы и сердца россиян.

Так или иначе, идеи, продвигавшиеся «демократами» и «либералами» конца XX века, не стоит списывать в архив. Новые попытки модернизации нашей страны в будущем не смогут обойтись без реформистских идей, которые, безусловно, будут отличаться от тех, что определяли идеиную повестку дня 30 лет назад. От их успеха на идеином рынке во многом будет зависеть повестка дня нового раунда реформ, и оттого уроки опыта российских «демократов» и «либералов» остаются актуальными с точки зрения перспектив России.

Литература

Баткин Л. Стать Европой // Век XX и мир. 1988. № 8. С. 30–35.

Васильев С., Львин Б. Социальные механизмы экономической реформы и характер переходного процесса // Постижение: социология, социальная политика, экономическая реформа / ред. Ф. Бородкин, Л. Ко-салс, Р. Рывкина. М.: Прогресс, 1989. С. 409–421.

- Гайдар Е. Смуты и институты // Гайдар Е. Власть и собственность. СПб.: Норма, 2009. С. 5–182.
- Гельман В., Травин Д. «Загогулины» российской модернизации: смена поколений и траектории реформ // Неприкосновенный запас. 2013. № 4. С. 14–38.
- Жестким курсом... Аналитическая записка Ленинградской ассоциации социально-экономических наук // Век XX и мир. 1990. № 6. С. 15–19.
- Травин Д. «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
- Травин Д., Гельман В., Заостровцев А. Российский путь: Идеи, Интересы, Институты, Иллюзии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017.
- Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация: в 2 т. М.; СПб.: АСТ; Terra Fantastica, 2004.
- Шейнис Б. Взлет и падение парламента: переломные годы в российской политике: в 2 т. М.: Московский центр Карнеги, 2005.
- Offe C. Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe // Social Research. 1991. Vol. 58. N 4. P. 865–892.
- Shleifer A., Treisman D. Without a Map: Political Tactics and Economic Reform in Russia. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

Андрей Щербак

Перед теорией модернизации: взлет, крах и наследие расовой теории

Введение

Появление теории модернизации обычно датируется концом 1950-х годов, когда Сеймур Липсет опубликовал свои ключевые работы [Lipset 1959; Lipset 1960]. В них он предложил убедительную модель объяснения социально-экономического развития, понимаемого как переход от традиционного общества к современному. «Осовременивание», или модернизация, было неразрывно связано с такими процессами, как индустриализация, урбанизация, расширение доступа к массовому образованию и демократизация. Любопытно, что теория модернизации появилась лишь через 150 лет после начала самой модернизации, даже в узком ее понимании — то есть начала Промышленной революции. Как же тогда они объясняли модернизацию *до* теории модернизации?

Долгое время одной из ключевых концепций оставалась *расовая теория*, которая была доминирующей системой идей на стыке общественных и естественных наук в течение конца XIX — первой половины XX века.¹ По ряду причин, как политических, так и сугубо научных, она оказалась полностью дискредитирована к середине 1940-х годов. Отметим, что разгром расовой теории непосредственно предшествовал появлению теории модернизации. При этом разгром был как академический (отказ от любых идей синтеза биологического и социального, особенно использования самого концепта «расы»

¹ Я намеренно не обращаюсь к марксизму в данной работе. Конечно, марксистская теория являлась частью мейнстрима в социальных науках в тот же период.

в общественных науках), так и институциональный (кафедры, журналы, конференции, гранты и т. д.). Образно говоря, расовая теория была вырвана «с корнем» из социальных наук. Однако, продолжая данную аналогию, можно предположить, что на месте «корней» остались «пустоты», которые, хотя и были заполнены иной «породой» (то есть иным знанием), все же позволяют выявить следы предшествующей парадигмы в существующей ныне теоретической рамке. Такого рода археология знания, или выявление более архаичных пластов представлений о принципах развития современного общества в структуре нынешней главенствующей теории, может быть полезной для критического осмыслиения теории модернизации как минимум по двум причинам.

Во-первых, она позволит встроить теорию модернизации в более широкий контекст динамики представлений о развитии общества и обнаружить, от каких положений предшествующих теорий она решительно отказалась, а какие принципиально новые идеи были предложены. Теория модернизации решительно порвала с биологизацией социальных наук, ей стал чужд крайне популярный ранее биологический детерминизм. Основными условиями развития стали открытость знаниям, желание проводить реформы и культурная адаптация.

Во-вторых, станет более четко ясна структура теории модернизации, со всеми ее ключевыми элементами и принципами. Краеугольным камнем теории модернизации стал принцип универсальности развития, то есть способности любого общества провести структурные реформы, запустить долгосрочный экономический рост и пройти через универсальные социальные изменения, включая индустриализацию, урбанизацию, секуляризацию, стандартизацию, рационализацию, демократизацию. Одновременно это означало, что теория модернизации не признаёт концепций «особого пути», которые бы отказывали отдельным обществам в шансе на успешное развитие по каким-либо причинам.

Структура работы выглядит следующим образом. В первой части представлен краткий очерк истории расовой теории, включая две связанных с ней дисциплины — физическую антропологию и евгенику. Во второй части рассматриваются некоторые примеры влияния расовой теории на становление современных научных дисциплин. В тре-

тьей части теория модернизации противопоставляется расовой теории. В заключении приводятся рассуждения о настоящем и будущем биологизации социальных наук.

Расовая теория: истоки, основные положения и влияние на науку

Расовая теория как широкая, рамочная научная дисциплина появилась в XIX веке. Ключевым концептом для нее была «раса», под которой понималась особая группа человеческой популяции, обладавшая отличительным фенотипом и врожденными биологическими свойствами, включающими множество признаков — от цвета кожи и роста до когнитивных способностей и социального поведения.

Отдельные, несистематизированные суждения о делении человечества на расы появились довольно рано. Например, в XVIII веке Карл Линней, предлагая единую классификацию живых организмов, выделил четыре расы, основываясь на географическом происхождении и цвете кожи [Уэйд 2018: 37]. Неоднозначность концепта «раса» появилась после выхода работ Жозефа Артура де Гобино. В своем ключевом труде «Опыт о неравенстве человеческих рас» он попытался объяснить взлет и упадок цивилизаций с помощью категории «расы», которую воспринимал как основу для создания иерархий человеческих групп. Утверждая наличие расовой иерархии (белая раса наверху, желтая ниже и черная — в самом низу), Гобино заявлял, что упадок цивилизаций происходит вследствие смешения рас, в результате которого «высшие расы» утрачивают свои врожденные свойства. Кроме того, в его работе упоминалась «арийская раса» как высшая среди «европейской расы». Гобино был к тому же полигенистом, утверждая, что разные расы произошли от разных вариантов *homo sapiens*, то есть расы классифицировались как разные виды человека [там же: 38].

Немаловажную роль в популяризацию расовой теории внес англо-немецкий философ Хьюстон Стюарт Чемберлен, который в своей книге «Основания XIX века» создал расовую историю человечества с Древнего мира по 1800 год. Согласно идеям Чемберлена, вся история цивилизации Запада объясняется особенностями «арийской расы»,

к которой он относил не только германцев, но и греков, римлян, кельтов и даже славян. Врожденные особенности «арийцев» позволили им возвыситься в ходе истории, а взлет и упадок цивилизаций он объяснял смешением рас, в основном с «семитской расой» (то есть евреями). Чемберлен придерживался идеи жесткой иерархии рас, осуждал смешение рас, считая его причиной «расового вырождения», и был уверен, что история сводится к «борьбе рас»; он один из ключевых идеологов «расового превосходства» своего времени [Шнирельман 2015: 35–37].

Огромный вклад в становление расовой теории оказала теория эволюции Чарльза Дарвина. Ключевые концепции данной теории произвели большое впечатление на современников: происхождение человека от обезьяны, развитие от низших видов к высшим, естественный отбор, борьба за существование. Хотя сам Дарвин не может быть причислен к сторонникам расовой теории, он не смог противостоять попыткам механического переноса его идей в науки об обществе. Так появился социальный дарвинизм. Используя широко понимаемые, заимствованные у Дарвина концепты «выживание наиболее приспособленных» и «борьба за существование», сторонники социал-дарвинизма утверждали, что развитие общества происходит по тем же законам. Особое внимание уделялось биологическому обоснованию принципов *laissez-faire*, капитализма, индивидуализма, что позволяло считать более успешными представителей высших видов. Влиятельным сторонником социального дарвинизма считается англо-американский социолог Герберт Спенсер, который, собственно, и ввел в оборот термины «выживание наиболее приспособленных» и «борьба за существование», причем за несколько лет до Дарвина [Уэйд 2018; Leonard 2005a: 214–215].

К концу XIX века расовая теория, в широком смысле этого слова, сложилась как направление на стыке естественных и социальных наук. Ниже кратко представлены ее основные положения.

Ключевые положения: категория «расы», иерархия «рас», границы между «расами»

Во-первых, основополагающей является идея о том, чточество делится на «расы», при этом раса является важнейшей катего-

рией для разнообразия человеческих сообществ. Каждая раса имеет четкую биологическую основу, они выявляются и различаются набором определенных признаков.

Во-вторых, расы отличаются определенным набором физических, психологических, когнитивных, социальных особенностей. Эти особенности носят врожденный характер, передаются по наследству и практически не могут быть изменены воздействием среды. Наличие этих черт и определяет направление развития рас. Для сохранения этих черт расы не должны смешиваться; ключевой постулат расовой теории — необходимость «чистоты расы».

В-третьих, идея «иерархии рас». Расы разделяются на «высшие» и «низшие», более успешные и менее успешные; одни предназначены править, другие — подчиняться. Иерархия носит биологический характер: «высшие расы» обладают набором особых врожденных признаков. Физическим особенностям (например, размеру черепа и объему мозга) соответствуют психологические и интеллектуальные навыки: уровень интеллекта, навыки социального поведения.

Как выглядит развитие в рамках данной модели? Развитие и прогресс носят ярко выраженную биологическую основу: «высшие расы» достигают успехов за счет своих врожденных достоинств — повышенного интеллекта, склонности к образованию и науке, высоких моральных качеств, более сложного социального поведения и более совершенной социальной организации. «Низшие расы» оказываются неспособными к развитию, в лучшем случае они могут копировать некоторые достижения, причем под присмотром представителей «высших рас».² Кроме того, в силу своих врожденных недостатков «низшие расы» могут быть лишены свободы, собственности, любой правовой защиты, а часто и жизни. Таким образом, развитие носит эксклюзивный характер в силу расовых различий. Большому числу

² Типичное высказывание представителя британского правящего класса: «По уровню мышления африканцы <...> стоят гораздо ближе к животному миру, чем люди европейского или азиатского происхождения» [цит. по Истерли 2016: 83]. Или американского: «Его [негра] не интересуют ни собственность, ни культура, и, чтобы повысить его потребительские стандарты, вам придется злоупотребить его свободой» [там же: 84].

сообществ отказано в возможности даже шанса на развитие из-за их биологической ущербности. В рамках расовой теории развитие не носит универсального характера.

С современной точки зрения даже вне этического контекста расовая теория едва ли может считаться научной концепцией как минимум по двум причинам.

Во-первых, крайне размыта сама единица анализа — «раса». В разных концепциях их число варьирует от 3 до 30 — с введением «малых рас», «расовых типов» и «под-рас» (про «европейские расы» см. [Turda 2010: 66]). Это означает, что определение ключевой единицы анализа носит крайне произвольный характер и происходит по субъективным, а не объективным причинам. Попыток классификаций рас было проделано очень много.

Примером может быть различие во взглядах сторонников расовой теории на славян. Одни считали, что русские, украинцы и белорусы — это одна «славянская раса», тем самым оправдывая тезис «славянского единства»; другие настаивали на принадлежности украинцев к так называемой «динарской расе», совершенно отличной от русских, что оправдывало украинский национальный проект. Третьи же считали, что славяне — лучшие представители «арийской расы» [Шнирельман 2015].

Во-вторых, иерархия рас также носит сильно произвольный характер. С одной стороны, «белые расы», как правило, относятся к верхней части иерархии. С другой стороны, иерархия внутри белых рас часто оказывалась весьма произвольной, хотя бы по причине выделения малых «европейских рас». Например, для нацистов славяне были сильно внизу расовой иерархии, в то время как для славянских сторонников расовой теории славяне никак не уступают германцам как истинным «арийцам», а иногда и превосходят их [там же: 124]. Другим примером является отнесение ирландцев к «иберийско-ирландской расе», помещаемой на стыке европейских и африканских рас.

Таким образом, ключевые положения расовой теории носят крайне произвольный характер. При всех указанных недостатках расовая теория оказывала огромное влияние на развитие общественных наук в первой половине XX века. Среди дисциплин, неразрывно связанных с расовой теорией, были физическая антропология и евгеника.

Физическая антропология

Для антропологии того периода — XIX и начала XX века — «раса» являлась одним из ключевых понятий. Своей задачей новая наука видела описание разнообразия человечества научным языком, используя инструментарий естественных наук с уклоном в математическую верификацию. Новая наука намеревалась выявить объективные различия среди человеческого населения и описать данные различия языком самой современной для своего времени науки.

Категории описания были вполне научными в том смысле, что они основывались на строгих измерениях: форма черепа, объем мозга, тип и цвет волос, цвет глаз, черты лица, рост. Созданию описательных категорий сопутствовал массовый сбор антропологического материала с помощью специально созданных антропометрических инструментов.

Хронологически и содержательно история физической антропологии на рубеже XIX и XX веков может быть разделена на два периода: условно «либеральный» и условно «биологический».

Сутью «либерального подхода» был приоритет научности, часто понимаемый как строгость и точность научного метода сбора данных, своего рода позитивизм. В фокусе исследовательской повестки было изучение человеческого разнообразия, населяющего страны, империи, планету, строгая классификация и создание таксономий «морфологических типов». Либеральные антропологи настаивали на несмешении понятий «расы» и культуры. С их точки зрения, «раса» — это некий абстрактный, статистически вычисляемый физический тип, а не четкая биологическая категория. В то же время «народ» и «нация» — это общности, в первую очередь определяемые с помощью языка и культуры, но не расы. В «народе» и «нации» смешивались несколько расовых типов, без возможности вычленить доминирующий «чистый» тип [Evans 2007].

Постулат о «расовой смешанности» был краеугольным камнем данной повестки: это и единство в разнообразии, и отказ от построения иерархий среди рас и границ между ними, с разведением понятий «раса» и «нация» и отрицанием наличия связи между расой, особенностями человеческого тела и интеллектом. Иными словами, это была попытка описать архаичное население языком модернизации, который бы опирался на представления о необходимости стандартизации

(фиксация «объективных» различий на основе научного метода) и рационализации (для улучшения управления нужно знать как можно больше о своем населении). На рубеже веков в Германии такой подход был представлен Рудольфом Вирховым (Берлинское антропологическое общество), в России — Дмитрием Анучиным (Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве) [Могильнер 2008].

Удивительно, но либеральные антропологи крайне настороженно относились к теории эволюции, так как довольно часто эволюционный подход воспринимался как движение от низших групп к высшим. Например, он нередко позволял определить африканцев (особенно пигмеев) как «промежуточное звено» между приматами и людьми [Evans 2007].

В начале XX века в ведущих европейских странах в развитии физической антропологии верх берет «биологический» подход. На смену парадигм повлияло несколько факторов.

Во-первых, свою роль сыграло развитие теории эволюции. Новые археологические открытия, поддерживающие теорию эволюции (например, находка питекантропа как промежуточной формы между приматами и людьми), ослабляли позицию скептиков, отрицающих наличие иерархий между видами. Теперь неравенство видов стало пониматься как неотъемлемая часть биологического и социального ландшафта.

Во-вторых, проявилось разочарование в методах. Десятилетия сбора антропологических «стандартных» данных (включая измерение черепов, роста, исследование цвета волос, цвета кожи и т. д.), по сути, не принесли никаких серьезных научных открытий. Провал краиниологии стал кризисом строгого позитивизма. В то же время открытия законов Грегора Иоганна Менделя вызвало у антропологов живой интерес к генетике. Стало усиливаться представление о расах сквозь призму генетической наследуемости признаков, особенно в области интеллекта. Физические особенности и отличия «расовых типов» стали плотно увязываться с их психологическими и когнитивными признаками. В итоге «раса» стала пониматься как совокупность наследуемых, врожденных признаков, а не как «статистическая средняя» [Evans 2008].

В-третьих, радикально изменился общественный фон в Европе. Первая мировая война вызвала бурный рост национализма, в том

числе среди ученых. В Германии, да и в других странах антропологи стали больше уделять внимания концептам «нордической», «арийской», «тевтонской» и т. д. расы как ответу на трудности войны и поражение в ней. Данные изменения привели к тому, что дискурс человеческого разнообразия сменился дискурсом расовой чистоты, расовой гигиены и евгеники. В случае Германии физическая антропология превратилась в 1920-е годы в совершенно нелиберальную «расовую науку» [Ibid.]. В повестке новой дисциплины теперь преобладало создание иерархии рас, в том числе в Европе, обоснование высшего статуса северных европейцев («нордическая раса»), обсуждение «практических мер» по улучшению расы (или созданию препятствий деградации расы). «Биологический» подход в антропологии был гораздо ближе к идеям расовых идеологов, чем предшествовавший ему «либеральный». Теперь антропологи соглашались с идеями о врожденном биологическом и интеллектуальном неравенстве между расами, которое определяет различия в их социальном поведении и в каком-то смысле их исторической судьбе. Оставался совсем небольшой шаг к принятию идей евгеники, «расовой чистоты» и «расовой гигиены».

Евгеника

Создателем евгеники как научной дисциплины считается двоюродный брат Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон. В своем исследовании о достижениях выдающихся людей Гальтон предположил, что ключевой фактор — это биологическая наследственность, то есть передача врожденных признаков по семейной линии, но не социальное положение. Таким образом, развитие прочно увязывалось с позитивной селекцией внутри человеческого вида. Понимание принципов подобной селекции и управление ею воспринималось как мощнейший механизм общественной трансформации; естественную селекцию должна заменить управляемая селекция [Bashford, Levine 2010: 4]. Ключевым концептом для дисциплины стала «раса», понимаемая как совокупность наследуемых признаков; в такой парадигме «улучшение расы» понималось как управление наследуемыми качествами [Turda 2010: 63]. Развитие воспринималось как некий математический баланс между «расовыми типами». Согласно этой логике, высшие качества должны

воспроизводиться и широко распространяться, а нежелательные признаки должны сокращаться. Таким образом, позитивная повестка евгеники заключалась в поощрении воспроизведения «лучших», а негативная — в препятствии размножения «худших» [Paul, Moore 2010: 38].

В рамках евгеники происходила расоизация представлений об обществе, которое во многом воспринималось как биологический организм. Происходило установление биологических границ между социальными группами, причем не только между расами, но и внутри рас. С одной стороны, смешение «высших» и «низших» рас воспринималось как причина вырождения «высших рас», а метисация рассматривалась как общественная проблема. С другой стороны, сторонники евгеники усматривали признаки вырождения и среди самих европейцев. Подобному дискурсу сопутствовало выделение и маргинализация женщин и рабочих в отдельные социальные и биологические группы [Могильнер 2008: 329]. Евгеника активно использовала концепт «дегенерации» для создания иерархий и обоснования вмешательства ради положительных изменений в обществе: претензия на научное определение социальных язв, влекущих за собой вырождение и дегенерацию общества, и оправдание государственного вмешательства, которое было сродни профессиональному «лечению» [там же: 332].

Особо отметим, что для многих современников евгеника была частью именно научного знания, а ее повестка — частью широкой общественной модернизации. Основанная на идеи рационального планирования и общественного прогресса, евгеника была одним из решений застарелых социальных язв — бедности, преступности, болезней, невежества. Повестка евгеники требовала тщательного сбора информации о населении — о расовой и классовой принадлежности, семье, болезнях, месте проживания и др. [Bashford, Levine 2010: 10].

Наибольшего влияния евгеника достигла в 1920–1930 годах, причем практически во всех западных странах. При активном содействии евгенических обществ, академических кругов — в том числе антропологов [например, в Германии, см. Evans 2008] — многие правительства приняли специальные евгенические программы по улучшению качества населения и препятствия «вырождению расы». Особенно мощными такие программы были в США, Германии, Великобритании и Скандинавии, хотя определенного влияния евгеника достигла по всему миру [Dikötter 1998]. Они предполагали как сбор информации

о населении, так и ряд прикладных программ, обычно основанных на вмешательстве государства в вопросы воспроизводства населения — например, с помощью насильтвенной стерилизации «нежелательных элементов». Под последними понимались отдельные преступники, душевнобольные, бедные, а иногда даже индивиды с IQ ниже 70 баллов. Предельный случай — уничтожение миллионов людей в нацистской Германии под эгидой евгенических программ по «улучшению расы». Другое направление деятельности сторонников евгеники — это законодательные запреты на женитьбу отдельных индивидов (с определенными заболеваниями), а также попытки ввести обязательный скрининг здоровья супругов перед женитьбой [Bashford, Levine 2010: 6].

Как понималось общественное развитие в рамках расовой теории? Как тесное переплетение социальных и биологических процессов. Экономический рост, индустриализация, колониальная экспансия осмысливались не только в терминах социальных наук, но и в биологических категориях, основополагающей из которых была «раса». Прогресс европейских обществ осмыслился в этих категориях: их достижения рассматривались как следствие их биологического превосходства как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Иными словами, модернизация — это результат не того, что европейцы делали, а того, кем они были; преобладали расоизация и биологизация представлений о развитии общества.

Но может быть, все-таки сторонники расовой теории и представители социальных наук не пересекались и расовая теория и другие общественные науки развивались параллельно в то время? Ответ на этот вопрос — отрицательный, многие видные ученые своего времени проявляли активный деятельный интерес к расовой теории, в том числе к евгенике. Неудивительно, что все крупнейшие социальные мыслители того времени включали подобного рода идеи в свои исследования и разработки. Евгеника рассматривалась как инструмент социального контроля, проводник коллективизма и солидарности (защита «расы»), способ избавиться от пороков капитализма [Leonard 2005a: 212].

Например, виднейший британский экономист Джон Кейнс был директором Британского общества евгеники (с 1937 по 1944 год), в этом же обществе состояли Карл Пирсон (статистика), Рональд Фишер (статистика и математика). Первым президентом Американского

евгенического общества был Ирвинг Фишер (экономист). Президентом итальянского общества генетики и евгеники являлся экономист Корrado Джини (разработал знаменитый «коэффициент Джини»). Один из основателей современной социологии Герберт Спенсер был видным сторонником евгеники. Эти примеры подтверждают, что расовая теория могла довольно сильно влиять на представления о развитии общества.

Примеры влияния расовой теории на становление дисциплин в общественных науках

Утверждение о том, что расовая теория влияла на идеи о модернизации европейских обществ, нуждается в определенной проверке. Ниже приводится несколько примеров такого влияния: экономика труда, экономика развития и программы контроля населения. Подобных примеров может быть и больше, однако мы ограничимся только этими.

Экономика труда

Развитие экономической науки на рубеже XIX–XX веков было неразрывно связано с развитием статистики, что сопровождалось расширением сбора данных о национальных экономиках. Одним из направлений исследований стали оценки «уровня бедности, условий жизни бедняков и несчастных случаев на производстве» [Митчелл 2014: 208]. Другим направлением статистических исследований оказалась евгеника. К концу XIX века элиты европейских стран начали высказывать беспокойство в связи с появлением данных о «падении качества расы». Было распространено мнение, что бедные и физически неразвитые индивиды плодятся быстрее, чем здоровые и сильные. Экономисты, разделявшие данные сомнения, соглашались с тезисом о необходимости предотвратить «вырождение расы» [там же: 209]. Один из основателей неоклассической экономики, американский экономист Ирвинг Фишер, он же президент Американской экономической ассоциации, стал сторонником евгеники, положения которой начал включать в свои исследования. Так, в 1906 году Фишер стал одним из

основателей Общества по улучшению расы, а в 1922 году — Американского евгенического общества [там же: 212].

С экономической точки зрения труд является одним из факторов производства, такой же, как земля и капитал. Все ресурсы ограничены, необходимо относиться к ним бережно и использовать в экономике рационально. Следовательно, необходим точный учет трудовых ресурсов. Измерение трудовых ресурсов стоит проходить как по их количеству, так и по качеству. Однако «качество рабочей силы» — это уже категория евгеники. Государство, или общество, может позволить как улучшить этот ресурс, так и дать ему испортиться [там же: 212]. Ряд экономических характеристик, играющих важную роль на микроуровне — потребить сейчас или отложить потребление ресурсов на потом, склонность к бережливости, самоконтроль, — оказывались привязаны к личным характеристикам индивида и объявлялись экономистами качествами, присущими лишь представителям «высших рас»; «низшие расы» подобными свойствами не обладали. Соответственно, на уровне всей экономики чуть ли не главной задачей государства в области управления трудовых ресурсов провозглашалось препятствие «вырождению расы» [там же: 212]. Согласно Фишеру, государство могло вмешиваться в этот процесс и заниматься «улучшением расы» через Министерство здравоохранения [там же: 213]. Стоит ли говорить, что это улучшение предусматривало программы по насильтвенной стерилизации, ограничение прав на вступление в браки определенным категориям лиц и сегрегацию.

Другим направлением исследований было влияние иммиграции на качество трудовых ресурсов. Приток мигрантов, особенно из Азии, воспринимался одновременно сквозь призму и социальных, и расовых стереотипов. Выходцы из Азии (а также Восточной и Южной Европы), считавшиеся представителями заведомо более «низких рас», объявлялись не только культурной, но и биологической угрозой (через смешивание) — еще одним источником «вырождения расы» или «расового самоубийства» [Leonard 2005b: 209]. Фишер активно продвигал идею установления расовых квот, которая нашла поддержку среди правящего класса в США. В 1924 году там был принят Акт об ограничении иммиграции.

Таким образом, экономика труда изначально занималась измерением не только количества, но и качества трудовых ресурсов. «Качество

рабочей силы» воспринималось во многом в биологических, «расовых» терминах. Весьма популярный в современную эпоху термин «качество человеческого капитала» имеет совершенно иные коннотации, в основном связанные с убеждением необходимости масштабных инвестиций в образование и здравоохранение. Однако в настоящий момент какой-либо биологический, «расовый» подтекст совершен-но отсутствует.

Экономика развития

Экономика развития (*development economics*) появилась как экономическая дисциплина, посвященная поиску ответа на вопрос: как бедным странам стать богатыми? Какая экономическая политика должна претворяться в жизнь, чтобы в развивающихся странах начался устойчивый экономический рост? Вопрос развития отсталых сообществ начал подниматься еще в колониальную эпоху как оправдание статуса европейцев в Африке и Азии. Как подробно описывает бывший старший экономист Мирового банка Уильям Истерли, процесс становления этой дисциплины в начале XX века оказался сильно увязан с расовой теорией [Истерли 2016].

После окончания Первой мировой войны во многом благодаря США был предложен первый проект по международному развитию — помочь Китаю. С одной стороны, внешнеполитический курс США требовал привлечения союзников в Азии для сдерживания Японии, и Китай считался ключевым кандидатом на эту роль, но с другой — идея расового неравенства распространялась и на китайцев, что выразилось в законах об ограничении иммиграции китайцев (Акт об исключении китайцев 1882 года и Акт об исключении выходцев с Востока 1924 года) [там же: 84]. Чтобы разрешить этот парадокс — привлечь китайцев идеями развития их страны, но не отказываться от восприятия китайцев как «низшей расы», была придумана идея «технократического развития», которая принципиально не рассматривала политически чувствительные вопросы, такие как ограничение иммиграции, экстерриториальность европейцев в Китае, расовое неравенство [там же: 105–106]. В этом случае экономисты и политики, не желая отказываться от своих прав, дарованных им статусом «выс-

шай расы», предпочли перевести дискуссию с этих вопросов на обсуждение технических «вопросов развития».

История отношения США к Китаю почти точь-в-точь повторилась в изменении дискурса британцев в Африке примерно в те же годы. Колониальные общества были выстроены на принципах жесткой расовой иерархии, в которых африканцы считались «расовым типом, находящимся на примитивной стадии развития» [там же: 83]. В связи с нарастанием напряжения международной обстановки перед Второй мировой войной такая расоизация отношений к африканцам стала считаться опасной: ведь не факт, что последние захотят сражаться за британцев. Другой страх, который стал охватывать англичан, — это угроза «расовой войны». Довольно скоро Первая мировая война стала восприниматься как трагическая междуусобица белых людей, ослабившая «европейскую расу» в глобальном масштабе [там же: 128]. Однако геополитические соображения не оказались достаточной причиной для отказа от колониализма и расовой теории как его интеллектуального обоснования. Имперская администрация решила использовать образ «благонамеренного автократа», который стремится править «низшими расами» для их же блага — содействуя экономическому развитию колоний [там же: 124–125]. Экономическое развитие африканцев воспринималось как техническая проблема и должно решаться техническими средствами, без пересмотра основополагающих принципов, таких как расовая иерархия. «Новая философия колониального правления» теперь провозглашала своей основной целью заботу о повышении уровня жизни жителей управляемых территорий [там же: 136]. Идея «расового превосходства» была заменена технической функцией защиты и развития территории [там же: 137–138]. Однако эта подмена была заменой не по содержанию, а по форме. На тот исторический момент британское правительство никоим образом не помышляло отказаться от колоний, речь шла лишь о новом дискурсе обоснования своего господства. Технократическое развитие угнетаемых народов — ключевая задача новой экономической политики [там же: 144–145]. Смягчение дискурса расового превосходства и провозглашение «нового курса» сыграли свою роль: колониальные империи после победы союзников во Второй мировой войне не распались моментально. Однако в Азии сразу появилась новая угроза: на место восстанию «цветных народов» под эгидой Японии пришел СССР

с его резкой антизападной и антиимпериалистической идеологией. Коммунизм грозил стать еще более опасной идеей для колониального господства западных стран [там же: 148]. Поэтому предложения технократического развития для «развивающихся стран» получили еще больше поддержки от «развитых стран». С началом холодной войны между СССР и США акценты еще больше сместились — развитие было необходимым условием удерживания развивающихся стран в орбите влияния стран Запада. Антикоммунизм стал иной важной составляющей предлагаемых стратегий развития.

В случае экономики развития расовая теория оказала определенное влияние на становление этой дисциплины. Во-первых, она решала вопрос легитимации колониального правления как технократического развития подмандатных территорий, населенных «низшими расами». Во-вторых, еще на раннем этапе экономика развития пыталась замаскировать установленную европейцами в колониях расовую иерархию предложениями не затрагивать политические вопросы развития стран третьего мира, а сконцентрироваться на аполитичных «технических» задачах экономического роста.

Программы контроля населения

Со времен Томаса Мальтуса неконтролируемый рост населения, истощение ресурсов казались европейским мыслителям очевидными причинами грядущих человеческих бед: войн, голода, болезней и политических потрясений. Поэтому вопросы контроля рождаемости то и дело оказывались в фокусе внимания общественных активистов и ученых. Демографический взрыв XX века стал пониматься как серьезная проблема многими специалистами, в том числе последователями евгеники. Они выдвигали несколько причин своего беспокойства [Дитон 2016: 269]. Во-первых, совершивший демографический переход в Европе и Северной Америке, снижение в этих регионах темпов рождаемости на фоне ее стремительного роста в Азии и Африке, был представлен как «расовая угроза», резкое смещение баланса между «расами». Во-вторых, неконтролируемый рост рождаемости, по мнению ряда мыслителей, происходил среди наиболее бедных и необразованных людей, что должно было привести к снижению качества населения (то есть «вырождению расы») и еще больше-

му усугублению социальных проблем. Одной из задач предлагаемых, или даже навязываемых, программ развития по борьбе с бедностью являлась стратегия по «контролю населения» (*population control*) или по снижению рождаемости. Иными словами, один из рецептов борьбы с бедностью африканцев/азиатов — это ограничение их рождаемости. Исходя из представлений о том, что «цветные» плохо соображают и не в состоянии спланировать свою жизнь, европейские координаторы подобных программ не брали в расчет, что дети могут быть желанными. Наоборот, они представляли африканцев/азиатов как «рабов своих необузданных сексуальных страстей» [там же: 271]. Такое восприятие не белых было довольно типичным для сторонников расовой теории и евгеники: остановить чрезмерное размножение «цветных» — это самоцель, а остальное — уже не столь важные детали. Другой идеологической составляющей данных программ являлся антикоммунизм. Уже в середине XX века у многих экспертов и политиков было четкое понимание того, что бедность является питательной средой для распространения идей коммунизма. Соответственно, ограничение рождаемости в развивающихся странах должно было как повлиять на «расовый баланс» на планете, так и помешать мировому коммунизму. Отметим, что ни одна из подобных программ не стремилась ограничивать рождаемость белого среднего класса, — наоборот, в этом случае сторонники евгеники сетовали о падении рождаемости [Bashford, Levine 2010: 8].

Удивительно, но сейчас данные программы продвигаются международными гуманитарными организациями под диаметрально противоположными лозунгами. Стратегия контроля населения, или «планирования семьи», — сегодня неотъемлемая часть леволиберальной повестки с ее идеями гендерного равноправия, индивидуализма, постматериалистических ценностей.

Теория модернизации versus расовая теория

После разгрома расовой теории место центральной теории, объясняющей развитие обществ, довольно быстро заняла теория модернизации. Данная теория аккумулировала многое из более ранних работ социальных ученых и мыслителей: акцент на технические инновации,

содействие социально-экономическому прогрессу, строительство государственных и политических институтов, преобразования в культурной сфере. Преодолеть низкий уровень развития и догнать передовые страны можно с помощью заимствований успешных практик, импорта прогрессивных институтов и культурных норм. Развитые страны способны оказать содействие в виде предоставления экономической и военной помощи, консультаций по проводимым реформам [Инглхарт, Вельцель 2011: 34]. Все страны на пути модернизации должны пройти через универсальные этапы: развивать промышленность, строить новые города, инвестировать в физическую и социальную инфраструктуру, содействовать развитию образования, науки и техники, быть открытыми в отношении ценностей и культурных образцов из передовых стран. Экономическим итогом модернизации должна стать развитая промышленность (или сектор высоких технологий), а политическим — стабильная демократия с развитым гражданским обществом.

Хотя довольно часто синонимом модернизации считалась вестернизация, данная теория не стремилась подчеркнуть исключительный характер обществ Запада. Возвышение Запада рассматривалось как следствие исключительных исторических обстоятельств, сочетание поступательного развития и определенной удачи. Социальные процессы, напрочь оторванные от какого-либо биологического содержания, являлись главными направляющими силами модернизации. Хотя страны Запада первыми прошли основные стадии модернизации, это не означает, что по тому же пути не могут пройти иные общества, — наоборот, теория модернизации всячески подчеркивала универсальность развития. Отставание каких-либо стран в развитии не фатально: концепция «догоняющей модернизации» обосновывала возможность начать переход к современному обществу в любой исторический момент.

Попробуем сформулировать ключевые отличия теории модернизации от расовой теории.

Во-первых, это принцип *универсальности* развития. Согласно теории модернизации, шанс на развитие есть абсолютно у любого общества. Она отрицает наличие какого-либо детерминизма (биологического, культурного), который бы изначально препятствовал обществу стать современным. Более того, многие версии теории модернизации

утверждают, что пути к современности тоже универсальны: чтобы стать развитой страной, нужно проводить более-менее схожие преобразования. Это также означает, что в рамках теории модернизации нет места для тех концепций «особого пути», которые объясняют невозможность развития какого-либо общества. Принцип универсальности развития становится более понятным, если его противопоставлять «жесткому» биологическому детерминизму расовой теории. В рамках последней развитие носило явно выраженный *эксклюзивный* характер: только «высшие расы» могли развиваться, создавая образцы высокой культуры. Соответственно, принцип универсальности выглядит как реакция на дискредитировавший себя биологический детерминизм расовой теории. Хотя в теории модернизации мы можем увидеть наличие иерархий — страны «первой волны модернизации» и страны «догоняющей модернизации», — эти иерархии не носят жесткого, эксклюзивного характера.

Во-вторых, это практически полный *отказ от биологизации* социальных наук. Теория модернизации как концепция развития напрочь лишена наследия естественных наук. Биология, антропология, медицина, генетика, география на многие десятилетия исчезли из арсенала социологов и экономистов. Если расовая теория в равной мере объединяла биологов и обществоведов, стимулируя обмен теориями, данными и методами, то потом на такое «междисциплинарное сотрудничество» было наложено табу. В новой парадигме процессы развития объяснялись удачными политическими решениями, экономическими и социальными реформами, культурными установками, социальной инженерией, случайными событиями, но никак не географическими преимуществами, генетическими особенностями или биологическими различиями. Любая попытка подвести под социальные процессы биологическое основание рискует навлечь критику в симпатии к евгенике. Предложения по социальному-экономическому развитию теперь имели в своей основе не улучшения качества населения или препятствия «вырождению расы», но проекты реформ по изменению институтов, изменению делового климата, привлечению и грамотному использованию инвестиций. В данных проектах все люди *принципиально* признаются равными по своим когнитивным, интеллектуальным, психическим и физическим способностям, отличия в социальном поведении и исходе реформ трактуются либо как следствие неравных условий,

либо как различия в культуре и социализации. Столь резкий отказ от биологизации поразителен, он не может быть объяснен вне контекста разгрома расовой теории.

Заключение

Подробное изучение расовой теории и сопровождающих ее дисциплин позволяет более четко понять достоинства основных положений теории модернизации: универсализм развития и отказ от биологизации социальных наук. На наш взгляд, именно универсализм является ключевым элементом этой теории. Любые попытки оправдывать эксклюзивность шансов на развитие, в том числе в виде концепций «особого пути», так или иначе отсылают к мрачному наследию расовой теории. Любое общество имеет шанс на успешное развитие; правда, не все общества по ряду причин могут полноценно воспользоваться этим шансом.

Другой важный элемент теории модернизации, обсуждавшийся в данной работе, — отказ от сотрудничества с естественными науками, который можно объяснить разгромом и дискредитацией расовой теории. Дальнейшая биологизация естественных наук воспринималась как угроза обществу и престижу самих общественных наук. Тем не менее в последние годы ситуация меняется. Довольно много исследователей начинают включать при анализе социального развития обществ разнообразные «естественные» факторы: географию [Даймонд 2012], гены [Cook 2014; Fowler, Baker, Dawes 2008; Chiao, Blizhinsky 2010], вирусы и эпидемии [Murray, Schaller 2010]. На данный момент это очень постепенный и осторожный процесс, с примерами откатов и публичных конфликтов. Кроме того, над социальными учеными довлеет комплекс неполноценности перед более «точными» естественными науками. Несмотря на проявляемую осторожность, явными и неявными способами последние проникают в социальные науки. Например, Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, критикуя географический детерминизм Джареда Даймонда, сами используют аналогии из генетики, чтобы объяснить «мутации» институтов [Аджемоглу, Робинсон 2015]: «институциональный дрейф» является прямым аналогом «генетического дрейфа». Джоэль Мокир, анали-

зируя причины инноваций, заимствует аналогию из теории эволюции, уподобляя развитие инноваций эволюции видов [Мокир 2014]. Однако радикальные попытки связать концепции расы и институтов встречают резкую критику. Николас Уэйд в своей книге «Неудобное наследство: Гены, расы и история человечества» [Уэйд 2018] заявил, что, во-первых, расы как биологические общности существуют, а во-вторых, исходы в развитии могут иметь расовую основу. Согласно его точке зрения, развитие стран сильно зависит от институтов, которые он понимает как воплощения социального поведения, имеющего в том числе генетическую основу. Таким образом, появилась логическая цепочка рассуждений «гены — расы — социальное поведение — институты — разные исходы в развитии». Уэйд всячески подчеркивал, что отказывается от любого намека на иерархию рас, но избежать критики в расизме он не смог.

С определенной осторожностью процесс биологизации социальных наук будет продолжен, однако следует не забывать о мрачном наследии расовой теории. Стоит также помнить, что большинство ученых отказалось от концепта «биологической расы» не только по нормативным соображениям, но и по причине того, что различия между расами оказались гораздо менее существенными, чем это предполагалось ранее. Возможно, такая участь ждет и многие перегруженные концепты в социальных науках.

Привлечение естественных наук способно преодолеть трудности в ряде ключевых теорий общественных наук. Очевидный пример — дискуссия о «случайности» западной модернизации, в том числе о «случайном характере» первоначального выбора институтов. Предлагаемый нами ранее структурный подход [Щербак 2017; Щербак 2018], увязывающий вопросы развития с демографией, географией, экологией, частично генами и эпидемиями, продолжает традицию подобных исследований [Galor 2011; Welzel 2013]. Оставаясь в рамках теории модернизации и соглашаясь с ее основным принципом универсальности, мы допускаем, что некоторые вариации в развитии могут быть объяснены структурными факторами, которые имеют естественную природу. В общем виде эта модель выглядит так: географические и экологические условия определяют характер сельского хозяйства, который, в свою очередь, в традиционном аграрном обществе сильно влияет на демографические процессы, опосредованно влияющие

на формирование институтов и экономический рост. Иными словами, человеческие популяции адаптируются к экологическим нишам, вырабатывают соответствующие методы и технологии ведения сельского хозяйства, которые в дальнейшем обуславливают демографические процессы и формирование институтов, определяющих направление развития.

Отметим, что биологизация социальных наук происходит на фоне других процессов в академическом мире. Растущая символическая роль естественных наук, популярность «больших данных», распространение менеджериального подхода в управлении университетами с его ориентацией на «повышение эффективности» дают непомерно больше веса биологам, генетикам и медикам. Это облегчает их экспансию в социальные науки; биологизация происходит не только со стороны социальных наук, но и в обратном направлении. Вопросы этики оказываются далеко не последними, и их придется принимать во внимание представителям всех наук, а память о наследии расовой теории должна служить важным напоминанием.

Литература

- Аджемоглу Д., Робинсон Д.* Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: ACT, 2015.
- Даймонд Д.* Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. М.: ACT; Corpus, 2012.
- Дитон А.* Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
- Инглхарт Р., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.
- Истерли У.* Тирания экспертов. Экономисты, диктаторы и забытые права бедных. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
- Митчелл Т.* Углеродная демократия. Политическая власть в эпоху нефти. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014.
- Могильнер М.* Ното imperii. История физической антропологии в России (конец XIX — начало XX в.). М.: Новое литературное обозрение, 2008.

- Мокир Дж. Рычаги богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.
- Уэйд Н. Неудобное наследство: Гены, расы и история человечества. М.: Альпина Паблишер, 2018.
- Шнирельман В. Арийский миф в современном мире. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- Щербак А. Как происходит изначальный выбор институтов? Критика концепции «случайности развития» и структурный подход. Препринт М-54/17. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. URL: https://eu.spb.ru/images/M_center/M_54_17.pdf (дата обращения: 19.02.2019).
- Щербак А. Парадоксы европейской урбанизации в раннее Новое время (1500–1800 гг.): структурный подход. Препринт М-66/18. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. URL: https://eu.spb.ru/images/M_center/M_66_18.pdf (дата обращения: 19.02.2019).
- Bashford A., Levine P. (eds.). *The Oxford handbook of the history of eugenics*. N. Y.: Oxford University Press, 2010.
- Chiao J., Blizhinsky K. Culture-gene coevolution of individualism–collectivism and the serotonin transporter gene // *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. 2010. N 277. P. 529–537.
- Cook J. The role of lactase persistence in precolonial development // *Journal of Economic Growth*. 2014. Vol. 19. P. 369–406.
- Dikötter F. Race culture: Recent perspectives on the history of eugenics // *The American Historical Review*, 1998. Vol. 103(2). P. 467–478.
- Evans A. A Liberal Paradigm? Race and ideology in late-nineteenth-century German physical anthropology // *Ab Imperio*, 2007. Vol. 1. P. 113–138.
- Evans A. Race made visible: the transformation of museum exhibits in early-twentieth-century German anthropology // *German Studies Review*. Vol. 31(1). 2008. P. 87–108.
- Fowler J., Baker L., Dawes C. Genetic variation in political participation // *American Political Science Review*, 2008. Vol. 102(2). P. 233–248.
- Galor O. *Unified growth theory*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
- Leonard T. Mistaking eugenics for social Darwinism: Why eugenics is missing from the history of American economics // *History of Political Economy*, 2005a. Vol. 37. P. 195–228.
- Leonard T. Retrospectives: Eugenics and economics in the progressive era // *Journal of Economic Perspectives*, 2005b. Vol. 19(4). P. 207–224.

- Lipset S.* Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy // American political science review, 1959. Vol. 53(1). P. 69–105.
- Lipset S.* Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, NY: Doubleday, 1960.
- Murray D., Schaller M.* Historical Prevalence of Infectious Diseases within 230 Geopolitical Regions: a Tool for Investigating Origins of Culture // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2010. Vol. 41(1). P. 9–108.
- Paul D., Moore J.* The Darwinian context: evolution and inheritance // The Oxford handbook of the history of eugenics / ed. by A. Bashford, P. Levine. N. Y.: Oxford University Press, 2010. P. 27–42.
- Turda M.* Race, science and eugenics in the twentieth century // The Oxford handbook of the history of eugenics / ed. by A. Bashford, P. Levine. N. Y.: Oxford University Press, 2010. P. 62–79.
- Welzel C.* Freedom rising. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Павел Усанов

Загадки Американской революции 1775–1783 годов

Американская революция — самая удачная революция в истории человечества. Эта революция явно своих детей не пожрала [Малия 2015: 190]. Тринадцать колоний (Нью-Гэмпшир, Массачусетс-Бэй, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия), занимающих небольшую территорию на восточном побережье Северной Америки (примерно 10 % территории современных США и меньше 1 % современного населения¹), образовали новое общество, которому удалось продемонстрировать небывалые темпы экономического развития и модернизации. Американская революция не только создала США, но и сформировала современный мир. Как говорил Томас Пейн (1737–1809): «Дело Америки в значительной мере является делом всего человечества». Если Великобритания одно время была образцом для подражания, то позже наступили времена, когда таким образцом стали США.

Кроме того, это была либертарианская революция. Идеи радикальных либертарианцев Джона Локка (1632–1704) и Томаса Пейна были направлены не просто против тирании английской короны, но против любой тирании. Отцы-основатели США являлись не только теоретиками либертарианства и *Laissez Faire*, но и людьми, которые смогли на практике реализовать свои принципы.

Не случайно Американская революция: 1) оказалась успешной, 2) была либертарианской, 3) породила множество подражаний.

¹ В 1770 году около 150 тыс. индейцев жили к востоку от Миссисипи. Но они все еще оставались охотниками-собирателями [Малия 2015: 192].

Почему же произошла Американская революция? Что привело к победе колонистов? Какое общество они мечтали создать и какое создали? Что не получилось у отцов-основателей? Все эти вопросы в конечном итоге связаны с вопросом об *истоках американской модернизации*.

Причины Американской революции

Американская революция разрушает все шаблоны. Принято считать, что революции совершаются, «когда либо верхи не хотят, либо низы не могут», когда в стране наступает затяжной экономический кризис, появляются новые жестокие притеснения либо происходит поражение в войне. Ничего этого не было в случае Американской революции.² Англичане совместно с американцами победили в Семилетней войне французов, экономика быстро развивалась, доходы американцев были выше, чем во всех остальных английских колониях, налоги были низкими (в четыре раза меньше, чем в метрополии)³, американцы пользовались свободами, гарантированными английским правом, торговые связи были как никогда тесными. Даже в элитах не было раскола до начала самой революции. Несомненно, успеху коло-

² Есть, правда, скептики, полагающие, что никакой революции на самом деле не было. «Утверждение, что в Америке произошла антиколониальная революция, прекрасно с точки зрения пропаганды, но неубедительно с позиции исторической и социологической науки» [Мур 2016: 111]. Автор обосновывает этот тезис тем, что классовая структура общества не изменилась. Американская революция — действительно странное явление с точки зрения сторонника классового подхода. Однако революции не всегда меняют классовую структуру общества, да и классовая структура меняется не всегда в процессе революции. Тем не менее Американская революция была не только сменой политических элит, но и созданием новых правил игры. Зафиксированные изменения имеют огромное значение: это Конституция и Билль о правах.

³ «В Америке эскалация событий выражалась в серии протестов против налогов, кстати, не таких уж высоких (налоговое бремя здесь в четыре раза уступало британскому). Наконец, американский мятеж вспыхнул в провинциях с более высоким доходом на душу населения, чем в любой стране Старого Света, что резко снижало тягу к социальным переменам» [Малия 2015: 190].

нистов способствовали решительность, терпение и территориальная удаленность от метрополии. Но этого было недостаточно⁴.

Колонисты в значительной мере представляли собой «коммерческое общество», как окрестил его Адам Смит (1723–1790) в 1776 году [Малия 2015: 196]. То есть они обладали необходимыми экономическими свободами.

Новую Англию основала торговая компания с королевской хартией — «Компания Массачусетского залива», превратив управлявший ею совет акционеров в провинциальную ассамблею, которая сама выбирала представителей исполнительной власти [там же: 198].

Избирательное право, конечно, основывалось на имущественном цензе, но даже в таких аристократических колониях, как Виргиния и Нью-Йорк, ценз был сравнительно низок, во всяком случае ниже, чем в Британии, а большинство взрослого мужского населения почти повсеместно обладало собственностью [там же: 198].

Жители колоний гордились своими английскими корнями, были патриотами Англии и желали быть подданными английского короля. Во время войны за независимость, правда, лоялистов оказалось уже лишь 20 %. Англичане шли навстречу колонистам и отменили все

⁴ Большую часть XX века особой популярностью пользовалось экономическое объяснение Американской революции. Артур Шлезингер-старший заявил в 1918 году, что Американская революция боролась не за конституционные принципы, как уверяют национальные ортодоксы, а за экономические интересы: торговцы побережья выступали против колониальной коммерческой системы Британии [Малия 2015: 195]. Наиболее сенсационное заявление в духе новой ортодоксии прозвучало, правда, несколько раньше, в 1913 году, в «Экономической интерпретации Конституции Соединенных Штатов» Чарльза Берда. В этом труде, который пользовался огромным влиянием, Берд фактически разоблачал Конституционный конвент, видя в нем заговор бизнесменов-консерваторов с целью выхолостить наследие 1776 года, своего рода циничный термидор, а не торжество революционных принципов, как воображали ортодоксы. Он пытался, в частности, показать, что творцы Конституции являлись не столько землевладельцами, сколько инвесторами, вкладывавшими средства в мануфактуры, торговлю и особенно в государственные ценные бумаги, а следовательно, много выигрывали от установления сильной федеральной власти. Книга повлекла за собой бесконечную полемику и дотошное изучение фактов, приводимых автором. В результате утверждение о ценных бумагах было опровергнуто, однако весьма значительная роль экономических интересов в революционной борьбе подтвердилась [там же: 195].

пошлины, кроме пошлин на чай. И вот именно пошлины на чай формально стали началом революции.⁵ «Бостонское чаепитие» вызвало неожиданную реакцию с каждой стороны. И еще недавно единый народ раскололся на две части в ожесточенной борьбе.

При этом успех колонистам вовсе не был гарантирован. Они рисковали своими жизнями. Им противостояла самая мощная в военном и промышленном отношении империя, с самым большим флотом и огромными материальными ресурсами. У колонистов не было профессиональной армии. Во время войны даже Томас Пейн был иногда в отчаянии от происходящего.

Колонисты населяли только окраину континента. К 1776 году их насчитывалось 2,5 млн человек, то есть примерно четверть населения самой Великобритании; 500 тыс. из них были чернокожими рабами. Крупнейший город в колониях, Филадельфия, имел 40 тыс. жителей (Нью-Йорк — всего 25 тыс.), тогда как Лондон уже достиг миллионной отметки [там же: 196].

Почему же произошла Американская революция? Что ей предшествовало?

Как отмечал Уинстон Черчилль (1874–1965) в своем фундаментальном четырехтомнике «История англоязычных народов»: «Американские колонии спокойно и уверенно росли последние сто пятьдесят лет. Всю первую половину XVII века англичане переселялись на американский континент. С юридической точки зрения колонии, в которых они оседали, являлись территориями, заселенными на основе королевской хартии, но вмешательство в их дела было небольшим, и очень скоро они научились самоуправлению» [Черчилль 2012: 148].

Тринадцать колоний Англии, возникшие на атлантическом побережье Северной Америки в XVII веке, пользовались большей самостоятельностью в делах внутреннего управления. Каждая из них имела свой выход к морю, собственное правительство и законодательное

⁵ «Никогда в истории, — сказал один американский тори, — не было еще такого бунта по столь “малому поводу”». Другой писал, что это «самый беспричинный и неестественный мятеж из всех когда-либо случавшихся»: «Анналы ни одной из стран не смогут представить пример восстания столь ожесточенного, гнева и безумия столь безудержного, вызванных столь тривиальными причинами, на которые ссылались эти несчастные люди» [Малиа 2015: 191].

собрание. Однако метрополия запрещала им торговать между собой некоторыми предметами труда и препятствовала торговым связям с другими европейскими странами [Кавтарадзе 2005: 149].

Навигационный акт 1651 года, который, кстати, поддерживал Адам Смит, закрепил это положение. На рынки колоний товары поступали только из Англии, а произведенные в них товары могли продаваться лишь в метрополии. Монопольное положение позволяло метрополии получать товары по более низким ценам и продавать свои по более высоким [там же: 150].

Торговую монополию Англии усиливали запреты на создание в колониях производств, которые могли бы составить конкуренцию английским товарам на колониальном рынке. В 1750 году «железный закон» вводил запрет на строительство в колониях железноделательных заводов. Запрету подвергалось производство подков, гвоздей, тонкого сукна [там же: 150].

Движение против метрополии началось в колониях после завершения Семилетней войны. Совместными усилиями колонистов и английского флота удалось вытеснить Францию из ее владений в Канаде. По условиям Парижского мира 1763 года Канада отошла к Англии, но одновременно с этим правительство Англии запретило колонистам заселение территорий к западу от Аппалачских гор. Правда, славная победа 1763 года оставила после себя огромный долг размером более 122 млн фунтов, выплата которого требовала свыше 4 млн фунтов ежегодно [Малия 2015: 200].

В глазах колонистов победа была совместной, и они начали требовать представительство в английском парламенте. Вместо этого Англия стала притеснять колонии новыми налогами и ограничениями [Кавтарадзе 2005: 150].

К примеру, в 1765 году был издан закон о гербовом сборе, который обязывал колонистов платить пошлину с каждой сделки, оформленной нотариально. Так Англия хотела пополнить бюджет, опустошенный во время войны. Этот сбор вызвал волну протестов и через год был отменен [там же: 150].

Протесты заставили англичан в 1770 году отказаться от пошлин на ввоз в колонии всех товаров — остались только пошлины на чай. Именно они стали поводом для знаменитого «Бостонского чаепития» 16 декабря 1773 года [там же: 151].

Реакция англичан была мгновенной.⁶ Парламент принял закон о закрытии порта Бостона до тех пор, пока не будут возмещены потери Ост-Индской компании.

Член английского парламента заявил: «Мне нравится этот закон [о закрытии Бостона], я принимаю его и одобряю за его умеренность». Этот закон позже будет известен как один из пяти «невыносимых законов» [Миддлкауф 2015: 273–274].

Король не ответил на петицию колонистов и вскоре объявил их бунтовщиками, а парламент проголосовал за отправку в Америку еще 25 тыс. солдат [Малиа 2015: 207].

Осенью 1775 года началось заседание Континентального конгресса, требовавшего отмены всех ограничений, действующих в колониях. В ходе военных действий между колонистами и английскими войсками 4 июля 1776 года Конгресс провозгласил Декларацию независимости США. Англия лишь после разгрома своих войск признала независимость США, подписав в 1783 году в Версале мирный договор [Кавтарадзе 2005: 151].⁷

Следует отметить, что штаты-учредители федерации имели разные экономические интересы и традиции, поэтому, создав в США президентскую республику, Конституция США 1787 года сохраняла децентрализованное управление страной. Были отменены дворянские

⁶ Видимо, ошибки короля Георга III его политики — все же больше следствие неумелости, чем злого умысла [Малиа 2015: 194].

⁷ Во время наполеоновских войн американцы вновь воевали за независимость. В августе 1814 года сражение в Чесапикском заливе окончилось трагически для американской столицы: британские войска захватили Вашингтон, сожгли Капитолий, Белый дом и другие общественные здания. Затем англичане двинулись на север, в сторону Балтимора. Артиллерийский обстрел города вдохновил Фрэнсиса Скотта Ки на создание патриотических стихов под названием «Звездно-полосатый флаг», позднее ставших национальным гимном республики [Макинерни 2009: 157].

Считается, что американцы потеряли всего 60 человек убитыми и ранеными, в то время как потери англичан составили 2 тыс. человек. Эндрю Джексон (1767–1845) наслаждался своим триумфом и не знал, что незадолго до этого произошло куда более важное событие. Проходившие в городе Генте переговоры завершились подписанием мирного договора, положившего конец англо-американской войне. И случилось это в самый канун Рождества 1814 года — за две недели до победы в Новом Орлеане [там же: 158].

звания, и все граждане были уравнены в правах, кроме, естественно, рабов [там же: 151].

Союз колонистов и борьба за него были основаны на философских и политических взглядах Бенджамина Франклина (1706–1790), Томаса Джейфтерсона (1743–1826) и Джеймса Мэдисона (1751–1836), которые являются бесценным вкладом в копилку человеческой мысли.

Идеи отцов-основателей

Человеческим поведением руководят идеи. Все, что делают люди, является результатом теорий, доктрин, убеждений и умонастроений, владеющих их разумом.

Людвиг фон Мизес [Мизес 2014: 217]

[Американская] Революция происходила в умах людей.

Томас Джейфтерсон [Бейлин 2010: 16]

Бернард Бейлин совершил настоящую революцию в исследовании войны за независимость, доказав в своей книге «Идеологические истоки Американской революции», что в ее основе лежала борьба идей. Основываясь на последних работах, показывающих, что наследие пуританской республики XVII века сохранилось и в XVIII столетии в виде радикальной критики «продажного» правления вигов, Бейлин продемонстрировал, что идеология «приверженцев Содружества» в большей мере, чем просвещение, вдохновляла основную массу протестной литературы в Америке начиная с 1765 года. Именно эта идеология стояла за знаковыми событиями того времени — известной серией кризисов от протестов против «Акта о гербовом сборе» до «Бостонского чаепития». В частности, ограничительные меры британского правительства в те годы казались колонистам очевидным «доказательством самого настоящего умыслаенного говора, в который тайно вступили заговорщики и в Англии, и в Америке» [Малия 2015: 196].

Революцию наделило особой силой и сделало преобразующим событием не «свержение существующего порядка», а «радикальная

идеализация и рационализация предыдущих полутораста лет американского опыта» [там же: 196].

С самого начала американцы заимствовали из Европы идеи как свободы (французский либерализм), так и дирижизма (меркантилизм). Первоначально преобладали идеи свободы, особенно благодаря Томасу Джейферсону. Но уже Александр Гамильтон был сторонником централизации кредита, протекционизма и государственного долга [Dorfman 1949: 404–417].

Несомненно, что на формирование нации оказали влияние книги Б. Франклина, отличавшиеся доступностью и культом *Self-made man*. Прагматизм и целеустремленность стали чертами американского характера, уже здесь виделось отличие от англичан: чопорность и аристократизм отсутствовали у американцев. Во время конфликта образ национального характера американца был важен для противопоставления себя англичанам.

Что касается экономических взглядов Б. Франклина, то он соглашался с критикой меркантилизма А. Смита и разделял с ним принципы свободной торговли [Паррингтон 1962: 239].

Ветвь эстетизма в американской истории олицетворяет Александр Гамильтон [Травин 2011: 111–125], который в 1791 году представил Доклад о значении мануфактур [Syrett 1966: 230–340]. По сути, Александр Гамильтон детально разработал план Государства-Левиафана в экономической сфере [Паррингтон 1962: 367–370]. Если идеи Джейферсона можно назватьprotoхайековскими, то идеи Гамильтона — протокейнсианскими.

Гамильтон был сторонником активной фискальной политики: «Государственный долг будет благословением для нашей страны. Он прочно сцепментирует наш Союз. Он, кроме того, создаст необходимость поддерживать налогообложение на таком уровне, который послужит стимулом для развития промышленности» [там же: 370].

Джейферсон остро отреагировал на доклад Гамильтона [там же: 426–427] и по мере сил боролся против расширения власти федерального правительства [Ефимов 2015: 224]. Джейферсон четко обозначал себя как противника централизации.

Видимо, на его убеждения повлияло знакомство с французскими экономистами. Джейферсон был лично знаком с последователем Жака Тюрго (1727–1781) физиократом Дюпоном де Немуром

(он даже делегировал ему планы по развитию образования в США), который эмигрировал в США в 1790-е. В 1768 году он опубликовал трактат «О происхождении и развитии новой науки», в которой отстаивал принципы *Laissez Faire* [Дюпон де Немур 2008: 495]. Так что традиция критического отношения к интервенционизму была крайне характерна для Джейфферсона: «Наша страна слишком велика для того, чтобы всеми ее делами вершило одно правительство. Слуги общества, находящиеся на далеком расстоянии, без надзора со стороны своих избирателей, окажутся по причине этой отдаленности неспособными управлять и не будут уделять должного внимания всему, что необходимо для справедливого управления гражданами. Это же обстоятельство, лишающее избирателей возможности контролировать своих избранников, толкает слуг общества к коррупции, казнокрадству, мотовству» [Паррингтон 1962: 431].

Для Джейфферсона идеалом было минимальное государство, выполняющее лишь функции «ночного сторожа»: «Мудрое и бережливое государство, государство, которое будет пресекать попытки людей наносить друг другу вред и в то же самое время предоставит им свободу трудовой деятельности и совершенствования и не станет отнимать у труженика заработанный им хлеб, — вот каким должно быть хорошее государство, которое необходимо нам, чтобы сделать наше счастье полным» [там же: 435].

В конечном итоге как успехи, так и поражения Американской революции связаны с тем, какие идеи одерживали победу.

Сам Джейфферсон признавал в письме Джону Адамсу в 1815 году: «Что считаем мы революцией? Войну? Она не была частью революции, но лишь следствием ее. Революция происходила в умах людей между 1770 и 1775 годами, на протяжении пятнадцати лет, до того, как первая капля крови пролилась в Лексингтоне. Протоколы тринацати законодательных собраний, памфлеты, газеты всех колоний за это время удостоверяют, как общественное мнение постепенно было просвещено и осведомлено относительно власти парламента над колониями» [Бейлин 2010: 16].

Однако речь шла не только о просвещении, но и об откровенной пропаганде, изображающей англичан как народ, сеющий разврат в колониях. Конечно же, меньше всего американские памфлеты характеризовала объективность. Но без этих памфлетов не было бы

и революции. Памфлеты против Англии были мощным инструментом революции [Мижуев 2015: 56].

Так, в 1769 году бостонский корреспондент писал о «продажности», которая, «как всемирный потоп, затопила все к вечному позору британской нации», и предполагал, что «деспотическое и тираническое» английское правительство потому «распространило свои грабительские набеги на Америку», что Британские острова оказались слишком тесны для «беспрестанной жажды роскоши, расточительства и беспутства». В 1770 году Элиот писал Холлису: «Господи, помилуй Великобританию! Ибо среди вельмож, я боюсь, едва ли найдется человек добродетельный. Надо бы утешаться надеждой, что среди низших сословий дела обстоят лучше, однако народ нельзя продать, если он до этого не продал себя сам». Чарльз Кэррол выражался еще патетичнее: «Я отчаялся увидеть, как Конституция вернет себе прежнюю силу. Огромная власть короны, богатство вельмож и развращенность простонародья суть непреодолимые препятствия для парламентской независимости» [Бейлин 2010: 86].

Через три года, в 1774-м, Кэррол снова отмечал бесповоротный упадок Англии: «Ненасытная алчность или, что хуже, властолюбие испорченных министров намеревается распространить в Америке ту продажность, которая даровала им неограниченную власть над Великобританией, которая привела Британскую империю на край гибели, ополчила (я не преувеличиваю) подданного против подданного, отца против сына, так что противоестественные убийства могут прибавиться к ужасам гражданской войны» [Бейлин 2010: 87].

Пропаганда оказывается эффективной, когда она подготовлена на основе более основательных работ философов и политиков, таких как Томас Джефферсон.

Почему у Америки получилось?

Крупнейший специалист по социологии революций М. Малиа в книге «Локомотивы истории» пишет об удивительной успешности Американской революции: «Не штурмовалась Бастилия, не катились с эшафота королевские головы. Главными символичными событиями стали “Бостонское чаепитие” и мушкетная перестрелка на Лексинг-

тонском лугу. Переворот закончился не выездом на авансцену человека на коне» [Малия 2015: 190].

Видимо, одна из наиболее важных причин успеха революции в том, что Америка никогда не знала «старого режима», как позже она не знала и социалистического движения [там же: 208]. При этом надо отметить, что оно было трансформировано в США в движение прогрессистов и либерализм Нового курса Франклина Рузвельта.

Подобно всем европейским революциям, американский мятеж начался как реакция на государственное строительство со стороны короля и закончился представительным конституционным правлением [там же: 191].

Идеологически американцы начали борьбу, на которую падал далекий отсвет 1688 года, то есть пытались защитить свои исторические права как англичане [там же: 192]. Прежде всего в Америке отсутствовал фактор, который до тех пор являлся определяющим для европейской цивилизации, — «старый режим». Там не просто не проживал король, но, что гораздо важнее, не существовало ни сословной системы, ни другого рода наследственных привилегий, ни единой церковной организации или традиции сакральной власти [там же: 192].

Американская революция — это самое успешное, хоть и осуществленное чужими руками, творение английской революции, пожалуй, более примечательное и уж конечно более современное, чем либеральный, но узко олигархический порядок, сложившийся к 1688 году в метрополии [там же: 193].

Согласно знаменитому изречению Карла Беккера, американская революция представляла собой схватку не только за то, чтобы «править у себя дома», но и за то, «кто будет править дома». Поэтому за патриотической риторикой эти ревизионисты видели классовую борьбу, «совсем как в 1789 году» или во время любого европейского восстания.

При кромвелевском Содружестве политика Англии стала более интервенционистской: правительство выкупило «сахарные острова» Вест-Индской компании, ввело для всей британской системы «Навигационный акт», который обязывал североамериканские колонии торговать только в рамках этой системы. С точки зрения британцев, колонии предназначались для того, чтобы служить источником сырья (табака, индиго, риса) или продукции первичной обработки (вроде

соленой трески), а также закрытым рынком для товаров британских мануфактур [там же: 198–199].

Подлинное значение решительной победы Британии в 1764 году для будущего заключалось в том, что колониям больше не требовалась ее защита. Метрополия в одночасье стала потенциально не нужна [там же: 199].

Более серьезную проблему представляло решение Лондона впервые со времени основания колоний напрямую облагать их налогом; до тех пор все налоги принимались голосованием на их собственных представительных ассамблеях.

Гербовый сбор, издавна существовавший в Англии, подразумевал покупку официальной (гербовой) бумаги для любого рода юридических и коммерческих документов; для продажи этой бумаги Лондон выбирал некоторых именитых колонистов. Когда известия о новых правилах достигли Северной Америки, результатом стал незамедлительный массовый протест под лозунгом «Нет налогам без представительства». Этот лозунг будет лейтмотивом всей революции [там же: 201].

Чтобы спасти лицо, парламент принял «Деклараторный закон», сохранявший за ним (абстрактно) право издавать законы для колоний «по любым, каким бы то ни было, вопросам». Вторая волна протеста прокатилась после введения в 1767 году пошлин Тауншенда на стекло, свинец, краски и чай; жители отказывались предоставлять военным жилье, хотя их обязывал к этому «Акт о постое» 1765 года. Трения между войсками и горожанами неизбежно привели к стычке — так называемой Бостонской бойне в марте 1770 года [там же: 202–203].

Затем Лондон допустил еще один промах. В 1773 году парламент, стремясь помочь Ост-Индской компании справиться с финансовыми трудностями, уполномочил ее назначать в Америке собственных агентов для продажи чая напрямую розничным торговцам, то есть в обход американских оптовиков. Хотя это означало снижение цен на чай, корреспондентские комитеты стали подстрекать горожан, чтобы те заворачивали обратно суда с чаем, и большинство так и делало. В Бостоне губернатор не позволил судам покинуть бухту без разгрузки, тогда в декабре «патриоты», замаскированные под индейцев, забрались на корабли и выкинули чай в воду [там же: 203–204].

Как еще один удар по свободе, американские колонисты восприняли не имеющий к ним прямого отношения «Акт о Квебеке», поскольку

он расширял границы территории прерогативного управления «папистской» Канады к югу от долины Огайо, включая туда индейские земли, которые жаждали заполучить колонисты [там же: 204].

В апреле 1775 года английским войскам, размещенным в Бостоне, приказали выслать вооруженную колонну в Конкорд, чтобы конфисковать оружие, которое хранила там колониальная милиция. Именно данная акция спровоцировала знаменитую перестрелку на Лексингтонском лугу и начало военных действий между «красными мундирами» и «минитменами». А это противостояние, в свою очередь, вызвало падение британского правительства во всех колониях. Королевские губернаторы один за другим покидали посты и уходили под защиту британских военных кораблей.

Колониальные ассамблеи, которым прежде для заседаний требовалось разрешение губернатора, снова собирались в качестве чрезвычайных «конгрессов» и начинали управлять как верховные органы власти: формировать войска и печатать бумажные деньги, чтобы платить им, хотя в то время бумажные деньги были в новинку и многим казались безрассудной затеей [там же: 206]. Бумажные деньги и инфляция скоро найдут не только теоретическое обоснование, но и новый институт, так похожий на старый добрый Банк Англии, учрежденный в 1694 году. Не во всем американцам удалось избавиться от Левиафана.

Что не получилось: Старый порядок и Революция

Так называется известная работа Алексиса де Токвиля, в которой он доказывает, что Французская революция 1789 года не уничтожила Старый порядок, а его воссоздала. Это же во многом относится и к Американской революции. Хотя Старого режима в колониях не было, но были заимствованы многие европейские институты: центральный банк, протекционизм, широкие полномочия правительства.

Хотя колонисты хотели освободиться от насилия, но заменили насилие британского правительства на насилие своего собственного правительства.

В первоначальной версии Декларации независимости жители были обозначены как *Subjects* — подданные. Позже Джон Ферсон вымарал это слово и заменил его на *Citizens* — граждане. Это стало известно

благодаря спектральному анализу лишь в 2010 году. Для военной знати все являются подданными. Сменился лишь «хозяин» [Волков 2018: 99].

Ничего хорошего рядовым американцам Конституция не сулила. Она предполагала создание мощного централизованного правительства, которое сосредоточивало в своих руках небывалую власть. У него хватало рычагов, чтобы навязать гражданам свою волю.

Правительство имело право облагать подданных налогами, контролировать коммерцию, собирать армию и использовать ее для подавления мятежей и в иных целях. Исполнительная власть концентрировалась в руках одного человека, который обладал беспрецедентным правом накладывать вето на решения легислатуры. Конституция предусматривала широчайший круг полномочий для правительства, но почему-то забывала противопоставить ему список гарантированных прав рядовых граждан.

Чем подобная форма правления отличается от вынужденной тирании времен революции? [Макинерни 2009: 112–113].

После обсуждения Конгресс разослал список из 12 предложений во все штаты для ратификации. В итоге обсуждения на местах 10 поправок были приняты и вошли в Билль о правах, который в декабре 1791 года стал частью Конституции.

На поверку выяснилось, что данный документ не затрагивает главных полномочий Конгресса. Он мог и дальше функционировать, но с одним существенным условием: государству запрещалось вторгаться в мысли, взгляды и убеждения своих граждан. Одним из первых актов нового правительства стало ограничение собственной власти [там же: 128].

Поводом к этому послужила серия экономических докладов Александра Гамильтонса, занимавшего должность министра финансов в кабинете Вашингтона. Многие коллеги недолюбливали этого человека, считая его амбициозным негодяем.

Гамильтон рассматривал свою должность как некий эквивалент кресла премьер-министра и самонадеянно полагал, что его дружба с президентом позволяет вмешиваться в работу других ведомств.

Результатом и стала экономическая программа, которую Гамильтон разработал в 1790–1791 годах и представил вниманию Конгресса в виде упомянутых докладов. В программе рассматривались такие злободневные вопросы, как государственный кредит, основание еди-

ного национального банка и развитие отечественного производства. Выступление Гамильтона вызвало бурю ожесточенных споров, так как, по сути, он поднимал все те же извечные вопросы: для чего существует федеральное правительство и что оно может? [там же: 129].

Гамильтон предлагал всех держателей долговых расписок связать с федеральным правительством, чтобы они были кровно заинтересованы в его успехах. Если это правительство потерпит крах, то кредиторы потеряют свои средства. Таким образом, возникнут основания для поддержки правительства, особенно в среде наиболее обеспеченных граждан республики [там же: 130].

В одном из своих выступлений министр предложил конгрессменам учредить национальный банк, имевший целью стабилизацию экономики страны посредством накопления и выпуска денежной массы, кредитования организаций и частных лиц и контроля за деятельностью банков штатов.

Самому Гамильтону эта идея виделась вполне разумной и своевременной, в то время как оппоненты расценивали его предложение как опасное безрассудство. Они доказывали, что проект Гамильтона вдвойне порочен: во-первых, он копирует Банк Англии, давно дискредитировавший себя в глазах американцев; а во-вторых, создание банковской структуры вообще является противоправным деянием, поскольку это не входит в функции Конгресса.

Джефферсон, Мэдисон и другие указывали, что в Конституции четко сказано: Конгресс может только использовать определенные, уже существующие рычаги власти. То, что не «перечислено», не входит в число законных средств.

«Достаточно сделать лишь шаг в сторону, — предупреждал Джейферсон, — ...и это будет расценено как попытка захвата беспредельной власти... власти, не поддающейся никакому определению». Узкая интерпретация документа представляет собой лучший путь к ограничению власти правительства и защите демократических свобод населения.

Гамильтон в ответ указывал на ту часть Конституции, где были обстоятельно прописаны права Конгресса. Восьмой раздел I статьи (конкретно последнее предложение) гласит, что Конгресс «может издавать любые законы, которые он сочтет необходимыми и надлежащими» для осуществления полномочий, предоставленных ему Конституцией. В частности, за Конгрессом оговорено право собирать налоги

и регулировать торговлю; а банк является тем самым механизмом — «необходимым и надлежащим», — который требуется для выполнения этих задач. То есть учреждение банка является актом вполне конституционным [там же: 132].

Гамильтон настаивал на том, что нация должна расширять свои экономические горизонты путем строительства промышленных предприятий, причем не менее продуктивных, чем поля и плантации. Но подобная метаморфоза произойдет лишь в том случае, если правительство проявит активность и пробудит граждан от их заурядных сельскохозяйственных грез. Настало время рас проститься с позицией невмешательства и обратиться к новому меркантилизму.

Гамильтон разработал целую систему мер: протекционистские тарифы были призваны инициировать развитие отечественной промышленности, акцизные сборы — обеспечить повышение доходов государства, поощрительные государственные премии должны были поддерживать прибыльные отрасли сельского хозяйства, рыболовов и китобоев тоже ожидали государственные субсидии. Кроме того, Гамильтон разработал ряд мер, направленных на развитие транспортной системы, необходимой для развития внутреннего и внешнего рынка. Он искренне верил, что правительство может (и должно) играть активную роль в экономике страны, способствуя ее расцвету и обогащению [там же: 134].

Таким образом, экономическая программа Гамильтона натолкнулась на серьезное сопротивление оппозиции. В качестве уступки Конгресс согласился незначительно повысить тарифы на импорт и ввести небольшие акцизные сборы на некоторые виды продукции, в том числе на виски. Но и этого хватило, чтобы вызвать недовольство у населения.

Фермеры юго-западной Пенсильвании больше всего возмущались именно акцизами на виски, которые подрывали их привычный уклад жизни. Испокон веков в американской сельской глубинке, безнадежно удаленной от рынков и железных дорог, выращивали пшеницу. Введенные государством акцизы сильно ударили по кошельку местных жителей, для которых торговля спиртным являлась чуть ли не единственным источником доходов.

К 1794 году обстановка в штате накалилась до предела. Фермеры бойкотировали ненавистное постановление, угрожали федеральным

чиновникам и мстили своим более покладистым землякам. Разъяренный Гамильтон настаивал на применении силы, и Вашингтон отправил на запад 13-тысячную армию, чтобы в корне задавить «Бунт виски». Однако к тому времени, как войска добрались до Пенсильвании, беспорядки стихли. Как водится, арестовали небольшую группу заводил, двоих из них приговорили к смертной казни, но позже помиловали.

Казалось, инцидент был исчерпан, но стычки между таможенными инспекторами и непокорными самогонщиками продолжались еще на протяжении ряда лет и прочно вошли в фольклор в качестве темы для многочисленных анекдотов. Хотя, если разобраться, ничего веселого в «Бунте виски» не было. Напротив, то, как в данной ситуации повело себя федеральное правительство — а именно пренебрежло интересами граждан, — наводило на тревожные выводы: **отныне и впредь правительство будет навязывать населению свои законы с позиции силы** [там же: 135–136].

Кроме того, в 1807 году Конгресс принял «Акт об эмбарго», запрещавший американским кораблям заходить в иностранные порты и фактически парализовавший всю морскую торговлю [там же: 154].

Коррупция процветала в процессе государственной продажи земельных участков. Наживались на этом те, кто первым покупал крупные участки у правительства, продавая их потом по более высоким ценам [История США 1983: 239].

В результате революции был принят акт о национализации западных земель. Общественной собственностью были признаны все земли к западу от Аллеганских гор. Их можно было приобрести, но только крупными «секциями» по 640 акров и по цене не меньше 1 долл. за акр с оплатой наличными в течение месяца. Это были огромные деньги, поэтому стала процветать спекуляция. Приближенные к властям могли купить крупный участок, а потом продавать частями по более высоким ценам. Видимо, это был первый шаг к образованию паразитического государства в США [Кавтарадзе 2005: 151–152].

В 1830-х годах типовая ферма стоила 100 долл. В 1800 году федеральное правительство распродало 68 тыс. акров общественной земли, в 1815-м — 1,3 млн акров, в 1818-м — 3,5 млн акров, в 1836-м — 20 млн акров.

К побочным эффектам продаж земли относятся безумные капиталовложения в эту операцию, которые были под силу лишь земельным

спекулянтам. В результате именно им и досталась большая часть реализуемой земли [Макинерни 2009: 186].

Как мы видим, то, с чем боролись американцы, снова появилось — Государство-Левиафан. Хотя первоначально и не такое большое, как в XX веке.

Рождение американского Левиафана

Самой нелиберальной мерой любого правительства при проведении экономической политики является инфляция. Она не только разрушает частную собственность, но и уничтожает возможности для рационального экономического расчета. Инфляция неизбежно перераспределяет ресурсы в пользу групп особых интересов и создает «федеральную кормушку» для любителей освоить бюджет. Американское государство, как и многие другие, создавалось за счет инфляционного перераспределения в пользу групп особых интересов.

Для финансирования войны за независимость Контиентальный конгресс принял за эмиссию бумажных денег. Лидером сторонников бумажных денег был Говернер Моррис (1752–1816), молодой наследник аристократической семьи нью-йоркских землевладельцев. С самого начала не было обещаний выкупить эти деньги даже в будущем, но предполагалось, что через семь лет они будут изъяты из обращения за счет налогов. Таким образом, намечалось дополнить инфляционную эмиссию бумажных денег бременем будущих налогов. Но про обещание изъять эти деньги из обращения вскоре забыли, потому что Конгрессу для этого не требовалась никакие дополнительные усилия для получения доходов и он расширил эмиссию неразменных бумажных денег. Как заметил один историк, «так возникла “федеральная кормушка”, один из самых нерушимых институтов Америки» [Ротбард 2016: 58].

Объем денежной массы в начале войны за независимость оценивается в 12 млн долл. В июне 1775 года по распоряжению Конгресса были напечатаны первые 2 млн долл., но типография еще не успела справиться с этим заказом, как было решено, что понадобится еще 1 млн долл. До конца этого года успели эмитировать или утвердить

решение об эмиссии 6 млн долл., так что количество денег в обращении выросло за год на целых 50 % [там же: 58].

В следующие несколько лет выпуск «континентальных» денег быстро нарашивался: в 1776 году были напечатаны 19 млн долл., в 1777-м — 13 млн долл., в 1778-м — 64 млн долл., в 1779-м — 125 млн долл. Сверх 12 млн долл. денежной массы, которые были в обращении к началу войны, за пять лет напечатали 225 млн долл. Результатом был быстрый рост цен и параллельное обесценение бумажных денег. Так, в конце 1776 года соотношение между бумажным долларом, или континенталом, и серебряным долларом было 1 к 1 или к 1,25, к концу следующего года — 3 к 1, к декабрю 1778-го курс упал до 6,8 к 1, а к декабрю 1779-го — до 42 к 1. К весне 1781 года континентальные доллары практически обесценились: на рынке за один серебряный доллар можно было купить 168 бумажных. Возникла даже поговорка «не стоит континентала» [там же: 58–59].

В довершение всех бед несколько штатов выпустили собственные бумажные деньги, и они обесценивались каждая со своей скоростью. Инфляционную гонку возглавили Виргиния и Каролина, которые к концу войны добавили 210 млн долл. к 225 млн долл. федеральной денежной массы. В попытке сдержать инфляцию и обесценение денег разные штаты декретировали потолок цен и потребовали принимать деньги по номиналу [там же: 59].

Федеральный долг за год с июня 1791 по июль 1792-го вырос на 840 723 долл. [Wright 2002: 142].

К концу войны только федеральных сертификатов было выпущено на 200 млн долл., и стоимость их, как легко понять, была почти нулевой.

В Виргинии и Джорджии выпущенные штатами деньги были обменены на звонкую монету по курсу 1000 к 1 [Ротбард 2016: 59].

Но процесс был остановлен и обращен вспять усилиями Роберта Морриса, богатого филадельфийского торговца, который в последние годы войны являлся фактически главным экономистом и финансовым царем Континентального конгресса. Моррис был лидером федералистских сил в американской политике [там же: 60].

Замыслы сторонников децентрализации, которые хотели исключительно за штатами сохранить право устанавливать и собирать налоги, а также выпускать новые бумажные деньги для оплаты федеральных долгов, были разрушены принятием Конституции и победой

сторонников федерализма, возглавлявшихся Александром Гамильтоном, учеником и бывшим помощником Морриса [там же: 61].

Весной 1781 года, вскоре после того, как его экономический авторитет в Конгрессе стал незыбленным, Моррис представил законопроект о создании первого коммерческого, а заодно и первого центрального банка в истории новой республики. Этот банк, возглавляемый самим Моррисом, Банк Северной Америки, был не только первым в истории США коммерческим банком с частичным резервированием, но и представлял собой находившийся в частных руках центральный банк, созданный по образцу Банка Англии [там же: 61]. С чем боролись, на то и напоролись.

Банк Северной Америки быстро получил федеральную лицензию и в начале 1782 года распахнул двери. Среди прочего банк получил привилегию: его банкноты подлежали приему по номиналу всеми правительственные учреждениями в качестве оплаты сборов и налогов. Кроме того, никакие другие банки не получили права действовать на территории страны. В обмен за монополию на выпуск бумажных денег банк обязался ссужать печатаемые им деньги федеральному правительству для выкупа правительственных долговых обязательств, эти ссуды подлежали погашению за счет налогоплательщиков. Банку Северной Америки доверили также держать все средства Конгресса. Первый центральный банк США быстро выпустил 1,2 млн долл. и ссудил их Конгрессу, возглавлявшемуся тем же Робертом Моррисом [там же: 61–62].

Когда Моррис не смог добить требуемую законом сумму для внесения в уставный капитал Банка Северной Америки, он совершил, по сути, жульническую операцию: присвоил деньги, одолженные США Францией, и от имени правительства вложил их в свой собственный банк. Таким образом, источником уставного капитала этого частного банка стали средства правительства. Затем эти средства банк Морриса ссудил Моррису как правительльному финансисту, а выгоду от этого получил Моррис как банкир. Наконец, все тот же Моррис истратил большую часть этих денег на военные закупки у своих друзей и деловых партнеров [Rothbard 1979: 392].

Гамильтон полагал, что все это прекрасно. Он доказывал, что так называемую «нехватку» металлических денег следует преодолеть с помощью вливания в оборот бумажных денег, которые и будет эмити-

ровать новый банк, а деньги следует тратить на выкуп государственных долговых обязательств и на субсидии промышленникам. Все это укрепит зависимость элит от правительства [Ротбард 2016: 67]. Федеральное правительство будет держать свои денежные средства в этом банке, что обеспечит ему достаточный престиж [там же: 67].

Банк Соединенных Штатов немедленно приступил к реализации своего потенциала — начал на основе собственных средств на 2 млн долл. металлическими деньгами надстраивать финансовую пирамиду — с помощью бумажных денег и депозитов до востребования — высотой в много миллионов долларов [там же: 67].

Индекс оптовых цен вырос с 85 в 1791 году до пикового уровня 146 в 1796-м, то есть на 72 % [там же: 68].

Создание Банка Соединенных Штатов в 1791 году и организованная им денежная экспансия стимулировали создание 18 новых банков за пять лет [там же: 68].

Джефферсон доказывал, что Конституция не давала федеральному правительству права учреждать банк. Гамильтон в ответ заявил, что Конституция «предполагает» дарование права действовать для достижения «общего блага», и этим ответом проложил дорогу для буквально неограниченной экспансии федеральной власти [там же: 68].

В 1800 году действовали 28 банков штатов, а к 1811-му их стало уже 117 — рост в четыре раза [там же: 69]. В январе 1811-го, в год закрытия Банка Соединенных Штатов, сумма золотых и серебряных активов составляла 5,01 млн долл., а сумма банкнот и депозитов — 12,87 млн долл., то есть коэффициент покрытия был равен 0,39 [там же: 70].

Основанный Александром Гамильтоном Банк Нью-Йорка хвалил Банк Соединенных Штатов за то, что «в случае стесненных обстоятельств он способен оказывать торговцам такую помощь, которую банки штатов предоставить не в состоянии» [там же: 70–71].

Рекордным было число новых банков в Пенсильвании, где только за март 1814 года был создан 41 новый банк, притом что до этого во всем штате действовали только 4 банка, да и те исключительно в Филадельфии. Самый сильный инфляционный импульс имел место в 1815 году, когда правительство разрешило банкам приостановить погашение своих обязательств звонкой монетой [там же: 72].

Давид Рикардо (1772–1823) удивлялся тому, что граждане в США не могут приструнить банки. 18 апреля 1821 года некто Рэгит в письме

Давиду Рикардо так объяснил могущество банков в США: «В своем письме Вы пишете, что Вам трудно понять, почему те, кто имеет право потребовать от банка монеты в уплату за их банкноты, так упорно не пользуются этим правом. Это, конечно же, должно казаться парадоксальным живущему в стране, где парламенту пришлось принять особый закон для защиты банков, но это Ваше затруднение легко разрешить. Все наше население состоит либо из акционеров банков, либо в долгу перед ними. Давить на банки не в интересах первых, а остальные боятся. Вот и весь секрет. Независимый человек, не являющийся ни акционером, ни должником, который бы рискнул привлечь банки к порядку, подвергся бы преследованиям как враг общества» [там же: 80–81].

Всего лишь за полтора года своей деятельности центральный банк США увеличил объем денежных инструментов на 19,2 млн долл. и довел степень пирамидалности до 9,24, а коэффициент покрытия — до 0,11.

Мечта Александра Гамильтона реализовалась — был создан Американский центральный банк. Хотя в 1836 году его закрыл Эндрю Джексон, эта модель была использована в 1913-м Вудро Вильсоном, когда он создавал Федеральную резервную систему США. Символично, что Александр Гамильтон похоронен в Церкви Троицы на Манхэттене, недалеко от Уолл-стрит.

Заключение: опасности минархизма

Интересы промышленности играли и играют огромную роль в истории США. Можно описать историю США как четыре промышленные революции: 1) освобождение американской промышленности от ограничений метрополии (Американская революция); 2) освобождение американской промышленности от института рабства и от нежелания южан строить трансконтинентальные железные дороги (Гражданская война 1861–1865 годов); 3) освобождение американской промышленности от протекционизма эпохи мировых войн (завершение Второй мировой войны в 1945 году); 4) освобождение американской промышленности от разделения мира на зоны торговли (победа в холодной войне в 1989–1991 годах). Во всех четырех революциях Америка достигала своих целей. Следующая по-

беда, видимо, будет связана с коллапсом авторитарных и милитаристских режимов.

Почему же произошла Американская революция? Три факта послужили ее причиной:

1. *Успех Английской революции 1688 года.* Революция показала, что в случае подавления прав и свобод граждан может быть организовано восстание, способное свергнуть предыдущую власть, причем сама революция окажется средством не разрушения, а созидания нации. Английская революция продемонстрировала, что она приводит к выгодам для промышленности и торговли. Колонисты воспитывались на идеях Английской революции.

2. *Популярность идей вигов в колониях.* Полемика в период Американской революции показала, что идеи радикальных вигов и Томаса Пейна близки колонистам и что они крайне чувствительны к нарушению своих прав. Здесь особую роль сыграла пропаганда идей Пейна в период конфликта с Великобританией.

3. *Налоги стали поводом, а не причиной Американской революции.* Налогообложение в колониях было в четыре раза меньше, чем в Великобритании. Парламент пошел на отказ от всех пошлин, кроме пошлины на чай, которая была незначительной. Однако, почувствовав вкус свободы, колонисты осознали, что у них достаточно сил и ресурсов для отделения от метрополии.

Отцы-основатели полагали, что идеал минархизма позволит им не допустить перерождения минимального государства в Государство-Левиафана. Они ошибались: если определенная группа людей обладает монополией на насилие, она будет использовать свои привилегии для того, чтобы расширять контроль, и станет медленно, но верно лишать людей все большего количества свобод. Уже в период между Американской революцией и Гражданской войной правительство развязывало войны, порождало инфляцию, занималось протекционизмом, ограничивало индивидуальные права (употребление алкоголя), формировало коррупционные схемы распределения земли и создало «бюджетную кормушку». Не зря в современных США набирают популярность идеи «Движения чаепития», призывающего к возрождению либертарианских принципов Американской революции индивидуализма.

Большое государство всегда порождает Большую войну.

Интеллектуалам, стремящимся защитить от этого общество, не следует оправдывать даже небольшого Левиафана, ведь его маленький размер — лишь времененная проблема для групп особых интересов.

Неприятие государственного вмешательства в любом его виде — это хорошее противоядие для каждого свободного общества.

Литература

- Бейлин Б.* Идеологические истоки Американской революции. М.: Новое издательство, 2010.
- Волков В.* Государство, или Цена порядка. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
- Дюпон де Немур.* О происхождении новой науки. Физиократы. М.: Эксмо, 2008.
- Ефимов И.* Джейферсон. М.: Молодая гвардия, 2015.
- История США. Т. 1 (1607–1877). М.: Наука, 1983.
- Кавтарадзе Г.* История экономического развития Запада. М.: Энigma, 2005.
- Макинерни Д.* США: история страны. М.: Эксмо, 2009.
- Малина М.* Локомотивы истории: революции и становление современного мира. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
- Миддлкэуф Р.* Славное дело: Американская революция 1763–1789. Екатеринбург: Гонзо, 2015.
- Мижуев П.* Великий раскол англо-саксонской расы: американская революция. М.: ЛЕНАНД, 2015.
- Мизес Л.* Либерализм. М.: Социум, 2014.
- Мур Б.* Социальные истоки диктатуры и демократии. М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2016.
- Паррингтон В.* Основные течения американской мысли. Т. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.
- Ротбард М.* История денежного обращения и банковского дела США. М.; Челябинск: Социум, 2016.
- Травин Д.* Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.: ACT, 2011.
- Черчилль У.* История англоязычных народов: в 4 т. Т. 3. Екатеринбург: Гонзо, 2012.

- Dorfman J.* Economic Mind in American Civilization. Vol. I. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1949.
- Rothbard M.* Conceived in Liberty. Vol. 4. Revolutionary War, 1775–1784. N. Y.: Arlington House, 1979.
- Syrett G.* The Papers of Alexander Hamilton. Vol. X (1791–1792). N. Y.: University of Columbia Press, 1966.
- Wright R.* The Wealth of Nations Rediscovered. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Дмитрий Ланко

Североевропейская модернизация: сравнение финского и эстонского опыта

Модернизация: проект на века или на десятилетия?

Различные приверженцы теории модернизации не сходятся в ответах на вопрос, в течение какого срока модернизация может стать успешной. Большинство из них согласны, что европейская модернизация, результаты которой любой может наблюдать в сегодняшней Европе, началась в Великобритании, откуда она концентрическими кругами распространялась по всей Европе. Позднее модернизация распространилась и за пределы Европы: в первую очередь на Североамериканский континент, но также в Азию, в Латинскую Америку, на Ближний Восток и в Африку, благодаря чему сегодня «островки модернизации» можно обнаружить в каждом регионе мира.

При этом остается непонятным, когда именно модернизация началась в самой Великобритании. Как указывает Дмитрий Травин, некоторые исследователи называют в качестве отправной точки британской модернизации 1215 год, когда английский король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей, и даже более ранние сроки [Травин 2018: 5]. И хотя в последующие века положения Великой хартии вольностей редко неукоснительно соблюдались английскими, а позднее — британскими властями, можно утверждать, что в XIII веке Англия сделала один из первых шагов на пути модернизации.

В последующие века многие вехи британской истории совпали с важными этапами на пути британской модернизации. XVI век ознаменовался успехами реформации в Англии, благодаря чему английская церковь получила независимость от римской курии. Зависимость темпов развития общественно-политических и социально-экономических институтов в Англии от темпов развития этих институтов в странах,

где католицизм сохранился в качестве доминирующего вероисповедания, снизилась. Соответственно, возникли предпосылки для очередного «рывка» модернизации. В XVII веке центральным событием английской истории стала Славная революция, сформировавшая новые предпосылки к дальнейшей модернизации страны.

В XVIII веке появилась возможность увидеть плод модернизации предшествующих веков — английскую индустриализацию. В XIX веке выходцы из Великобритании способствовали зарождению промышленности и в Финляндии [Selleck 1962]. Однако история модернизации в Великобритании не закончилась с наступлением массовой индустриализации. Модернизация в Великобритании продолжалась и в XIX веке, и даже во второй половине XX века. Уровень жизни английских шахтеров, забастовки которых привели в 1974 году к отставке кабинета Эдварда Хита, едва ли был выше, чем уровень жизни шахтеров российского Кузбасса сегодня. И в последующие годы Великобритания пришлось вновь провести модернизацию своих общественно-политических и социально-экономических институтов, благодаря чему уровень жизни всех подданных британской короны, проживающих на Британских островах, существенно вырос к началу XXI века.

Таким образом, можно сказать, что британская модернизация продолжается вот уже почти восемьсот лет, пусть за эти столетия в истории страны были периоды и «движения вперед», и «откатов назад», — и такое заявление представляется обоснованным. А можно сказать, что модернизация в Великобритании шла на протяжении последних пятидесяти лет, — и такое заявление тоже представляется обоснованным. При этом, и в последние пятьдесят лет в Великобритании происходили события, которые можно было бы расценить как «движение вперед», но происходили и события, которые правомерно охарактеризовать как «откат назад».

К последним, несомненно, следует причислить принятие в 1988 году поправок к Закону о местном самоуправлении, которыми запрещалась намеренная пропаганда гомосексуализма органами местного самоуправления, включая запрет на пропаганду в государственных школах толерантности к однополым отношениям как к разновидности семейных отношений [Godfrey 2018]. В середине 2019 года, когда я пишу эти строки, не представляется возможным однозначно ответить на вопрос, выйдет ли Великобритания окончательно из состава Европейского

союза, и если да, то на каких именно условиях. Тем более сегодня невозможно сказать, назовут ли будущие историки Брекзит «шагом вперед» или «откатом назад» на пути британской модернизации.

Вместе с тем вопрос о сроках, в течение которых реформирование общественно-политических и социально-экономических институтов определенным образом, что обычно и понимается под модернизацией, может оказаться успешным, представляется очень важным. Хрестоматийным примером крайне быстро проведенной модернизации в Европе во второй половине XX века стал опыт послевоенной Западной Германии. На протяжении двух-трех десятилетий эта страна сумела создать устойчивые общественно-политические институты, полностью заменившие те институты, которые страна унаследовала из нацистского и имперского, а также предшествующих периодов своей истории.

На протяжении тех же двух-трех десятилетий эта страна сумела создать устойчивые социально-экономические институты, полностью заменившие те институты, которых требовала милитаризация германской экономики в предшествующие исторические периоды. Наконец, на протяжении тех же двух-трех десятилетий эта страна сумела полностью восстановить в значительной степени уничтоженную в годы Второй мировой войны экономику, включая инфраструктуру, а также достичь уровня экономического развития, сопоставимого с ведущими странами Запада того времени. Несмотря на то что в эти же два-три десятилетия крайне негативное влияние на западногерманское общество оказывало осознание того, что страна была разделена надвое железным занавесом, послевоенная западногерманская модернизация оказалась успешной.

Элиты и общественное мнение в условиях затянувшейся модернизации

Далеко не всегда модернизация приводит к успеху на протяжении двух-трех десятилетий. И в этом случае среди элиты и основной части населения страны, где модернизация затянулась, начинает расти популярность тезиса о том, что модернизация в Западной Европе, в первую очередь в Великобритании, оказалась успешной благодаря

тому, что продолжалась на протяжении многих веков. В то время как в той стране, где модернизация затянулась, отсутствует «история модернизации». На элиту и на население этой страны рост популярности тезиса об отсутствии у нее «истории модернизации» оказывает двоякое воздействие.

Для части элиты и основного населения страны рост популярности этого тезиса становится стимулом для продолжения модернизации общественно-политических и социально-экономических институтов. По их мнению, это должно привести к улучшению экономического положения страны в целом и уровня жизни отдельных категорий граждан в частности, пусть и не так быстро, как это ожидалось в период, когда модернизация только начиналась. Эта часть элиты и населения утешает себя мыслями в духе: «Москва не сразу строилась», «Американская демократия совершенствовалась на протяжении более двухсот лет», «Самая темная ночь наступает перед рассветом» и т. п.

Для другой части элиты и основного населения той же страны рост популярности тезиса о восьмисотлетней истории модернизации в Великобритании, напротив, становится стимулом для поиска «особого пути» развития своей страны. Образ мышления этой части элиты можно описать русской поговоркой «Не жили богато, нечего и начинать». Затянувшаяся модернизация заставляет их думать, что когда-то в прошлом их страна упустила «исторический шанс» совер什ить важные шаги на пути модернизации, и как следствие — что нынешние попытки реформировать общественно-политические и социально-экономические институты заранее обречены на провал.

В качестве моментов, когда «исторический шанс» был данной странойпущен, ее элита и население называют разные исторические события, причем в каждой конкретной стране называются свои исторические события, поскольку история у каждой страны — своя. Отдельные представители российской элиты называют в данной связи события, происходившие как более тысячи лет назад (принятие православия), так и недавние события. Особого внимания в этом контексте заслуживает распространенная в России точка зрения, что, мол, Россия «не прошла в свое время через эпоху Ренессанса... [что лишило] отечественную культуру целого ряда важнейших характеристик, позволивших Западу осуществить модернизацию» [Травин 2016: 3].

Хотя точка зрения второй из описанных выше частей элиты и основного населения тех стран, где модернизация затянулась, по-человечески понятна, хочется пожелать всем странам, где проходит модернизация, чтобы там оказалось больше представителей первой из описанных выше частей элиты и населения. Не хочется думать, что произошло бы в Финляндии, если бы в середине 70-х годов XX века там оказалось меньше представителей первой части элиты и больше — второй. В 1976 году, вступая в третье десятилетие с одним и тем же президентом (Урхо Кекконен был избран президентом Финляндии в 1956 году и оставался на этом посту более четверти века — до 1982 года), глядя на частые ряды колючей проволоки на границе с Советским Союзом, кое-кто из финнов мог бы подумать, что «с такой историей и с такими соседями демократия в нашей стране едва ли возможна». По счастью, их оказалось меньшинство, и несколько затянувшаяся модернизация в Финляндии в конечном счете удалась.

Модернизацию в Эстонии в конце XX — начале XXI века также можно отнести к «затянувшимся проектам». С момента распада Советского Союза прошло уже 28 лет (а с момента начала Перестройки в СССР — уже 34 года). Однако в Эстонии пока так и не появились демократические институты, которые обеспечили бы равные возможности для всех постоянных жителей страны участвовать в процессе принятия политических решений. Темпы модернизации социально-экономических институтов, роста экономики и уровня жизни населения также оставляют желать лучшего. Хочется верить в то, что современная ситуация в Эстонии — это та самая «темная часть ночи перед рассветом». Хочется верить, что в ближайшее десятилетие Эстония сравняется с той же Финляндией и по степени развитости демократических институтов, и по уровню жизни населения, а также станет полноправным членом семьи Северных стран, как о том мечтал еще в 1990-х теперь уже бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес [Ilves 1999].

Вместе с тем в сегодняшней Эстонии растет число тех, кто полагает, что если их стране, придерживаясь прежнего курса развития, и удастся сравняться с Финляндией в ближайшее десятилетие, то это произойдет, скорее, из-за серьезного кризиса в Финляндии, а не из-за успехов Эстонии. Эти люди полагают, что в какой-то момент в их стране «исторический шанс» пройти модернизацию тем путем, которым шли западноевропейские страны, был упущен, и теперь высокого

уровня развития можно достичь, лишь «срезав по дороге», пойдя своим, «особым путем». Пока таковых в Эстонии меньшинство, однако события в Польше и Венгрии последнего десятилетия, где избранные большинством населения лидеры ведут свои страны «особым путем», мешают предположить, что в Эстонии, мол, такого не может случиться.

Общность эстонского и финского исторических путей

Когда этнические эстонцы говорят о том периоде своей истории, когда они якобы упустили «исторический шанс» на быструю успешную модернизацию, то они вспоминают главным образом о тех временах, когда история их страны была неразрывно связана с российской историей. В самом деле, по итогам Северной войны 1700–1721 годов между Россией и Швецией территория современной Эстонии вошла в состав образованной в период войны Российской империи, что не могло не повлиять на особенности исторического пути эстонцев и эстонской земли. Эстония оставалась в составе Российской империи вплоть до распада последней в 1917 году и образования независимой Эстонской Республики в начале 1918 года.

В 1940 году Эстонская Республика вошла в состав Советского Союза под именем Эстонской Советской Социалистической Республики и оставалась в составе СССР вплоть до его распада в 1991 году. Пятидесятилетнее пребывание Эстонии в составе СССР также не могло не повлиять на особенности исторического пути этой страны. Справедливости ради здесь следует заметить, что и в 1920–1930-е годы, когда и Эстония, и Финляндия являлись независимыми европейскими государствами, темпы трансформации общественно-политических и социально-экономических институтов, а также темпы экономического развития двух стран отличались, причем не в пользу Эстонии.

Однако можно предположить, что отставание Эстонии в эти годы было обусловлено тем, что в предшествующий период она находилась в составе Российской империи на протяжении двухсот лет, в то время как Финляндия — лишь на протяжении ста лет. Также можно предположить, что отставание Эстонии от Финляндии в 1920–1930-е годы было обусловлено различным статусом двух стран в составе Российской империи в XIX веке. Финляндия на протяжении всего XIX столетия

являлось Великим княжеством в составе Российской империи, пользовавшимся существенным уровнем автономии. В финляндскую историографию и культурологию этот исторический период вошел под названием «эпохи автономии» [например, Syväöja 1998].

В свою очередь, территория Эстонии в XIX веке (а равно и в XVIII веке) в составе Российской империи была поделена между Эстляндской (до 1783 года — Ревельская губерния, в 1783–1796 годах — Ревельское наместничество) и Лифляндской (до 1783 года — Рижская губерния, в 1783–1796 годах — Рижское наместничество) губерниями. Благодаря этому темпы развития общественно-политических и социально-экономических институтов в северной и южной частях Эстонии существенно отличались. К тому же, в отличие от Финляндии, прибалтийские губернии, в состав которых входила территория нынешней Эстонии в имперский период, не обладали сравнимым с Великим княжеством Финляндским уровнем автономии.

По большому счету исторические пути Финляндии и Эстонии не очень сильно различались ни в Средние века, ни в начале Нового времени. Территория современной Финляндии была завоевана шведскими крестоносцами, которые оставались крупнейшими землевладельцами как в период, когда эта территория входила в состав Швеции, так и после вхождения в состав Российской империи. Территория современной Эстонии была завоевана немецкими крестоносцами, которые оставались крупнейшими землевладельцами во все периоды, пока эта территория переходила из рук в руки, включая и период ее вхождения в состав Российской империи. Именно эти землевладельцы определяли особенности общественно-политического и социально-экономического развития данных территорий вплоть до наступления XX века.

Ни в Финляндии, ни в Эстонии не было своего Ренессанса, однако обе страны пережили Реформацию, благодаря чему сегодня лютеранство является наиболее распространенной религией в обеих странах. Близость к России обусловила и распространение православия на этих землях, благодаря чему православие является сегодня второй по распространенности религией как в Финляндии, так и в Эстонии. Причем в Эстонии православие распространено не только среди многочисленных этнических русских (включая потомков переселившихся в Восточную Эстонию после церковной реформы в России староверов; см. [Кюльмоя 2004, 2007]), но и среди этнических эстонцев. В XVII веке

территория Эстонии, как и территория Финляндии, входила в состав Шведского королевства, благодаря шведскому владычеству в обеих этих странах были основаны первые университеты.

На сходства исторических путей Эстонии с Финляндией и другими Северными странами в самой Эстонии чаще обращают внимание оптимисты, верящие в успех эстонского модернизационного проекта в ближайшие десятилетия. В свою очередь, пессимисты в самой Эстонии, готовящиеся объяснять будущую неудачу эстонской модернизации историческим опытом их страны, чаще обращают внимание на различия в исторических путях двух стран. Автор этих строк не отрекается от собственных, сделанных более десяти лет назад [Ланко 2007] весьма оптимистических прогнозов относительно перспектив эстонской модернизации. Увидеть успех эстонской модернизации в ближайшее десятилетие все еще не представляется для меня невозможным.

Вместе с тем равно вероятным сегодня выглядит сценарий, при котором в ближайшие годы число пессимистов относительно перспектив эстонской модернизации в элите и основном населении самой Эстонии превысит число оптимистов, которые пока доминируют. В этом случае Эстония пойдет по пути Польши и Венгрии, а отказ от пути модернизации, которым шли западноевропейские страны, будет объяснен упущененным «историческим шансом». Хотя сегодня такой ход событий выглядит всего лишь одним из вероятных сценариев развития ситуации, уже сейчас можно выдвинуть как минимум четыре гипотезы относительно того, когда именно «исторический шанс» на успешную модернизацию по западному образцу был в Эстонии упущен. Все четыре гипотезы связаны с тремя последними веками эстонской истории.

Согласно первой гипотезе, «исторический шанс» был упущен Эстонией в XVIII веке, когда ее территория вошла в состав Российской империи, в то время как территория Финляндии оставалась в составе Шведского королевства. Согласно второй гипотезе, «исторический шанс» был упущен Эстонией в XIX веке, когда эстонские и финляндские землевладельцы (притом что обе страны находились в составе Российской империи) выбрали разные пути взаимодействия с основной частью населения, благодаря чему формирование национального самосознания шло в Эстонии и в Финляндии разными путями. Согласно третьей гипотезе, «исторический шанс» был упущен Эстонией в 1930-х годах, когда на смену демократии, существовавшей

в 1920-е годы, пришла диктатура Константина Пятса. Финляндия оставалась демократической на протяжении всех ста лет с момента провозглашения независимости в 1917 году.

Наконец, согласно четвертой гипотезе, «исторический шанс» был упущен Эстонией во второй половине XX века, когда она на протяжении пятидесяти лет оставалась в составе Советского Союза, в то время как Финляндия сохраняла независимость. Уточнить все четыре гипотезы в рамках одной статьи не представляется возможным. Поэтому ниже основное внимание будет уделено последней гипотезе. С этой целью будет проведен сравнительный анализ темпов роста финляндской экономики в годы холодной войны и в последующий период в сравнении с темпами экономического роста в Швеции, США и Германии. Также будет проведен сравнительный анализ темпов роста эстонской экономики в постсоветский период в сравнении, с одной стороны, с темпами развития латвийской экономики в тот же период, а с другой стороны — с темпами развития финляндской экономики в годы холодной войны.

Модернизация Финляндии в годы холодной войны в сравнительной перспективе

В отличие от Эстонии, где для элит характерна тенденция к сравнению своей страны с Россией (и это сравнение, по мнению эстонской элиты, всегда оказывается в пользу Эстонии), для финляндской элиты характерно сравнение своей страны со Швецией. Можно предположить, что тенденция сравнивать свою страну с Россией является одной из причин, почему темпы экономического роста Эстонии после распада СССР, как будет показано ниже, отставали от темпов экономического роста Финляндии в годы холодной войны. Финляндская элита, сравнивавшая темпы развития своей страны со Швецией, где уровень экономического развития был выше, «ставила высокую планку», благодаря чему ей удалось достичь впечатляющих экономических результатов. В свою очередь, в глазах эстонской элиты более высокий, по сравнению с Россией, уровень экономического развития подчас является поводом «почивать на лаврах» тогда, когда требуются усилия для дальнейшей модернизации страны.

Помимо Швеции, представляется целесообразным провести сравнение роста финляндской экономики в годы холодной войны также с США, являвшимися флагманом западной экономики как после окончания Второй мировой войны, так и после распада СССР. Кроме того, представляется целесообразным провести сравнение роста финляндской экономики с западногерманской (а после объединения Германии — с германской), поскольку в начале холодной войны экономики Германии, и Финляндии оказались в схожем состоянии. Как и в случае Германии, города, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры Финляндии были разрушены в результате налетов советской и (особенно в случае Рованиеми) немецкой авиации.

Ситуация в Финляндии была даже хуже, чем в Западной Германии, поскольку Финляндия (как и Восточная Германия) была вынуждена платить reparations СССР, в то время как Западная Германия была освобождена от reparаций. Кроме того, во Второй мировой войне Финляндия потеряла порядка десятой части своей территории, причем той, которая в силу климатических условий в наибольшей степени благоприятствовала развитию сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса. Наконец, Советский Союз настоял на том, что Финляндия не должна получать американскую помощь по плану Маршалла. Несмотря на эти трудности, за десять послевоенных лет население Финляндии сумело восстановить разрушенную войной экономику, а в середине 1950-х годов, после прихода к власти Уrho Кекконена, в стране произошла либерализация торговли со странами Запада и, как следствие, начался быстрый экономический рост.

Одновременно Финляндия углубляла сотрудничество и со странами социалистического лагеря; экономика Финляндии существенно выиграла от сотрудничества как с Западом, так и с Востоком [Maentakanen 1978]. В 1960-е годы страна, с одной стороны, стала ассоциированным членом Европейской зоны свободной торговли, а с другой — подписала таможенное соглашение с СССР. В 1970-е Финляндия активно сотрудничала как с Европейскими сообществами, так и с Советом экономической взаимопомощи. Результаты такой экономической политики отражены в приведенной ниже таблице, в которой содержатся данные по номинальному ВВП на душу населения в Финляндии, Швеции, США и Германии начиная с 1960 года. Также в таблице приводятся аналогичные данные, характеризующие экономический рост

в Эстонии и Латвии начиная с 1995 года; эти данные будут использованы ниже с целью сравнения модернизации в Финляндии в годы холодной войны и модернизации в Эстонии после распада СССР.

**ВВП (номинал, долл. США) на душу населения в США, Швеции и Финляндии (1960–2015), Германии (Западной, 1970–1985, объединенной 1990–2015),
Эстонии и Латвии (1995–2015)**

Год	США	Швеция	Финляндия	Германия	Эстония	Латвия
1960	3007,123	1983,107	1179,353	н/д	н/д	н/д
1965	3827,527	3007,598	1882,087	н/д	н/д	н/д
1970	5246,884	4669,439	2476,467	2750,720	н/д	н/д
1975	7820,065	9974,657	6260,191	6212,763	н/д	н/д
1980	12 597,668	16 856,761	11 232,275	12 092,382	н/д	н/д
1985	18 268,422	13 474,161	11 405,934	9393,892	н/д	н/д
1990	23 954,479	30 162,316	28 380,549	22 219,753	н/д	н/д
1995	28 782,157	29 914,332	26 273,466	31 729,700	3044,384	2329,271
2000	36 449,855	29 283,005	24 253,250	23 718,747	4070,033	3352,731
2005	44 307,921	43 085,353	38 969,172	34 696,621	10 338,313	7558,742
2010	48 375,407	52 076,256	46 202,415	41 785,557	14 638,405	11 326,218
2015	56 443,817	50 812,191	42 424,221	41 323,922	17 155,874	13 639,694

Источник: The World Bank.

Из Второй мировой войны США вышли в числе стран-победительниц, Швеция оставалась нейтральной на протяжении всей войны, в то время как Германия и Финляндия оказались в числе проигравших. Представляется, что влияние войны на экономики этих стран все еще ощущалось в 1960 году, когда было зафиксировано отставание шведской экономики от американской в полтора раза, а финской от американской — почти втрое. В 1960-х во всех трех странах наблюдался бурный экономический рост, причем в Швеции он шел более быстрыми темпами, чем в США, а в Финляндии — быстрее, чем в Швеции. Благодаря этому к 1970 году шведская экономика отставала от американской лишь на 10 %, а финская — всего вдвое. Германская экономика в это время была сильнее финской, но все еще отставала от шведской и американской.

Экономический кризис 1970-х оказал существенное влияние на американскую экономику и гораздо меньшее — на экономики западноевропейских стран, благодаря чему к 1980 году экономикам Фин-

ляндии и Германии удалось почти догнать американскую, а экономике Швеции — даже и обогнать ее. К 1990 году и Финляндии удалось обогнать США по показателю ВВП на душу населения. Здесь следует отметить, что бурный экономический рост в годы холодной войны не привел к изменению отношения населения западноевропейских стран к Финляндии, и даже в начале XXI века в представлениях, например, жителей Великобритании Финляндия продолжала оставаться бедной европейской периферией [Nyman 2015].

ФРГ в это время переживала экономические последствия воссоединения с ГДР, благодаря чему ее экономика по этому показателю отстала даже от экономики США. Зато 1990-е годы оказались крайне успешными для американской экономики и неудачными для экономик европейских стран, включая Швецию и Финляндию, где ВВП на душу населения по итогам десятилетия уменьшился. В результате в 2000 году американская экономика обгоняла и шведскую, и финляндскую, и германскую, которая за 1990-е хоть и выросла, но недостаточно, чтобы обогнать Финляндию, где так называемый «фактор Нокиа» способствовал интенсивному экономическому росту [Hira 2012].

В 2000-е экономика стран Евросоюза развивалась быстрее американской, благодаря чему к 2010 году Финляндии и Германии удалось сократить разрыв с США по показателю ВВП на душу населения, а Швеции — вновь обогнать США. Однако последствия экономического кризиса 2008 года ударили по европейским экономикам сильнее, чем по американской. В 2010–2015 годах ВВП на душу населения в США вырос, а в Швеции, Финляндии и Германии — снизился. В 2015 году отставание этих трех стран от США по данному показателю составляло 10 % в случае Швеции и одну четверть — в случаях Финляндии и Германии.

Модернизация Эстонии и Латвии в конце XX — начале XXI века в сравнительной перспективе

Экономическое отставание СССР от Западной Европы и США в последние десятилетия холодной войны обусловило отставание Эстонии и Латвии, ставших независимыми странами в 1991 году, от четырех рассмотренных выше стран. После короткого периода неопределенности, характерного для первой половины 1990-х, в середине

десетилетия страны Балтии взяли курс на европейскую интеграцию. Подписание договоров об ассоциации с Европейским союзом в 1995 году стало важнейшей вехой перехода этих стран к рыночной экономике [Tiusanen 1996]. В том году по показателю ВВП на душу населения Эстония отставала от Финляндии в восемь с половиной раз, Латвия — в одиннадцать раз.

Однако уже к 2005 году разрыв сократился до трех с половиной раз в случае Эстонии и до пяти раз в случае Латвии. Таким образом, модернизация в Эстонии в первые пятнадцать лет после начала реформ была более успешной по сравнению с Латвией. В частности, банковские кризисы, поразившие обе эти страны в 1990-е [Fleming, Chu, Bakker 1997], привели к тому, что большинство крупнейших банков Латвии оказались дочерними предприятиями банков Эстонии, которые, в свою очередь, являлись дочерними предприятиями банков Северных стран. Вместе с тем экономические позиции Эстонии по сравнению даже с соседней Финляндией (не говоря уже о более успешных в 2000-х Швеции и США) оказались менее сильными, чем позиции Финляндии по сравнению со Швецией и США через пятнадцать лет после завершения Второй мировой войны.

В следующее десятилетие разрыв в уровне экономического развития между развитыми и переходными экономиками продолжил сокращаться. Главным фактором бурного экономического роста в Эстонии и Латвии стало их присоединение к Европейскому союзу в 2004 году. Страны Балтии благодаря либеральной экономической политике смогли максимизировать выгоды от европейской интеграции по сравнению с восточноевропейскими странами с более высоким уровнем вмешательства государства в экономику [Ademmer 2018]. Однако и в это десятилетие их экономическое отставание от развитых стран сокращалось не столь быстрыми темпами, как сокращался в 1960-е разрыв между США и Швецией, с одной стороны, и проигравшими Вторую мировую войну Западной Германией и Финляндией.

В 2015 году уровень развития эстонской экономики был ниже уровня развития немецкой экономики (наиболее низкого среди четырех рассматриваемых развитых стран в тот год) в 2,4 раза, а американской (наиболее высокого среди тех же четырех развитых экономик) — в 3,3 раза. Уровень развития латвийской экономики был ниже немецкой в три раза, американской — в четыре раза. При этом можно

предположить, что в ближайшие годы экономики Эстонии и Латвии ждет быстрый рост, благодаря чему к 2025 году уровень их развития будет отставать от уровня развития американской экономики менее чем вдвое, а от уровня развития экономик Германии, Швеции и Финляндии — всего лишь на десятки процентов.

Вместе с тем реалистичным видится и сценарий, согласно которому уровень развития экономик Эстонии и Латвии к 2025 году все еще будет вдвое ниже, чем у беднейшей из четырех рассматриваемых развитых экономик, и втрое — чем у богатейшей экономики из четырех. Если ситуация станет развиваться по этому, второму сценарию, то представляется, что тому будут способствовать две основные причины, из которых лишь одна может быть устранина усилиями самих Эстонии и Латвии. Эта, первая причина — неспособность самих стран Балтии довести до конца модернизацию своих политических и экономических систем.

За почти тридцать лет, прошедших с момента распада СССР, в Эстонии и Латвии так и не появились истинно инклюзивные системы, которые способствовали бы объединению усилий всех их жителей ради экономического роста и процветания этих стран. Несмотря на некоторые успехи антикоррупционной политики [Pedersen, Johannsen 2018], коррупция продолжает оставаться препятствием для развития экономик стран Балтии. Продолжающийся конфликт между так называемыми титульными нациями и русскоязычным населением, благодаря чему десятки процентов населения страны остаются исключенными из политического процесса [Alijeva 2017], также отнимает часть ресурсов, которые в ином случае могли бы использоваться для ускорения экономического развития страны.

Вторая причина не связана с внутриполитическими успехами или неудачами в самих Эстонии и Латвии, но с тенденциями в мировой экономике. В отличие от 1980-х годов, когда экономики западноевропейских стран в целом развивались быстрее американской, благодаря чему к 1990 году Финляндии удалось обогнать США по показателю номинального ВВП на душу населения, в 1990-х, когда Эстония и Латвия встали на рельсы модернизации, европейские экономики в целом развивались медленнее, чем американская экономика. Также на протяжении почти тридцати лет с момента окончания Второй мировой войны западная экономика не знала серьезных кризисов, благодаря чему проигравшие Вторую мировую войну Германия и Финляндия

продемонстрировали внушительный экономический рост к началу 1970-х. По экономикам Эстонии и Латвии последствия экономического кризиса 2008 года ударили через семнадцать лет после распада СССР.

Наконец, хотя экономика США и развивалась быстрее экономик стран Западной Европы после окончания холодной войны (за исключением 2000-х годов), в самих США темпы развития экономики в конце XX – начале XXI века отставали от американских же темпов развития в предшествующий период. Наиболее ярко это проявляется, если сравнить темпы роста не ВВП на душу населения, но производительности труда, вычисляемой как ВВП на число занятых [Gordon 2017]. Высокие темпы роста производительности труда в США наблюдаются, начиная с окончания Гражданской войны 1861–1865 годов и по настоящее время, однако темпы этого роста нельзя назвать равномерными. В период с момента окончания Гражданской войны до начала Первой мировой войны ежегодный прирост производительности труда составлял в среднем 1,8 %.

На протяжении полувека, в 1920–1970-х годах, наблюдался ежегодный рост производительности труда в среднем на уровне 2,8 %. В период после завершения экономического кризиса 1970-х темп роста производительности труда вновь снизился и составил в среднем 1,7 % в год. Финляндия, проводившая модернизацию своей экономики по западному образцу в 1950–1960-е годы, обогнала по темпам роста производительности труда США, которые сами в тот период демонстрировали быстрый экономический рост. Эстония, проводившая модернизацию своей экономики по западному образцу после распада СССР, также смогла обогнать США по темпам роста производительности труда, однако в самих США в этот период темпы экономического роста существенно замедлились. Из-за этого эстонская экономика не могла развиваться так быстро, как развивалась экономика Финляндии в послевоенный период.

Заключение

Финляндскую модернизацию можно охарактеризовать как успешную. Это, однако, не снимает ответственности с финляндских элит за последующие события: если в XXI веке в Финляндии не будет про-

водиться дальнейшая модернизация общественно-политических и социально-экономических институтов, то завоеванное в XX веке экономическое опережение будет утрачено и из одного из лидеров модернизации, каковой Финляндия является сегодня, страна превратится в отстающую. При этом если в XIX и XX веках страны Западной Европы, в частности Великобритания, играли для Финляндии роль примера, в соответствии с которым осуществлялась финляндская модернизация, то в начале XXI века она сама превратилась в страну Западной Европы, и теперь ее задачей станет не только развиваться самой, но и указывать путь другим странам, а не двигаться по пути, указанному другими. Пока нельзя сказать однозначно, насколько успешно Финляндия с этой задачей справится.

Хотя в середине 1970-х финляндская модернизация в глазах некоторых финнов могла выглядеть «затянувшимся проектом», сегодня представляется, что во второй половине XX века модернизация в Финляндии шла довольно-таки быстрыми темпами. После завершения Второй мировой войны по своему уровню экономического развития проигравшая войну Финляндия существенно отставала от остававшейся нейтральной Швеции. Однако к концу 1970-х Финляндии удалось догнать Швецию по уровням экономического развития, жизни населения и развития социально-экономических институтов, а в последующие двадцать лет — по уровню развития общественно-политических институтов. Сегодня Финляндия представляет собой один из успешных случаев европейской модернизации, преодолев путь от экономически зависимой от остальной России преимущественно аграрной части Российской империи в 1917 году до одной из наиболее развитых стран мира.

Пока рано судить, станет ли эстонская модернизация таким же успешным проектом, каким стала финляндская модернизация. Возможно, уже в ближайшее десятилетие Эстония сможет догнать ту же Финляндию по уровням экономического развития, жизни населения и развития социально-экономических институтов, а в последующее десятилетие в Эстонии сложатся и общественно-политические институты, которые обеспечат всем без исключения жителям страны равные права на участие в процессе принятия политических решений. Однако равновероятно, что уже в ближайшее десятилетие большинство эстонской элиты и основной части населения начнут думать,

что успешная модернизация в Эстонии невозможна из-за упущенного в прошлом «исторического шанса». Они предложат сократить экономический разрыв с соседями за счет развития по «особому пути», характерному исключительно для Эстонии и предопределенному особенностями исторического развития страны. В эстонской модернизации наступит перерыв.

Пока неизвестно, какой из двух путей развития выберет Эстония в ближайшее десятилетие: модернизацию или «особый путь». Выражая надежду на лучшее, автор этой статьи готовится к худшему. Выше были предложены четыре гипотезы, каждая из которых поможет в будущем ответить на вопрос, почему Эстония выбрала «особый путь», если это действительно произойдет. Наибольшее внимание было уделено той гипотезе, которая связывает возможную неудачу эстонской модернизации с полувековым периодом пребывания Эстонии в составе СССР. Представляется, что эта гипотеза окажется наиболее популярной среди эстонской элиты и основного населения, когда они попытаются объяснить, почему эстонская модернизация конца XX — начала XXI века не удалась, что обусловило обращение к «особому пути». Вместе с тем, если Эстония в ближайшее десятилетие выберет «особый путь», три другие гипотезы также потребуют проверки.

В заключение представляется важным подчеркнуть, что сегодня четыре перечисленные гипотезы являются не более чем предположениями, призванными объяснить возможный поворот на пути развития Эстонии, который может и не состояться. Автор продолжает надеяться, что и в ближайшее десятилетие, и в последующие годы представители эстонской элиты и основной части населения, позитивно оценивающие перспективы эстонской модернизации по западному образцу, продолжат влиять на путь развития страны, а сторонники «особого пути» в самой Эстонии останутся в меньшинстве. Хочется надеяться, что сторонников модернизации по западному пути в Эстонии не напугает необходимость ждать, пока их страна догонит Финляндию по уровню экономического развития, более тридцати пяти лет. И хочется верить, что их ожидание будет оправданным.

Литература

- Кюльмоя И. (отв. ред.)* Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. Tartu: Ülikooli kirjastus, 2004, Т. 1; 2007. Т. 2.
- Ланко Д.* Страны Балтии после распада СССР // СССР после распада / Под ред. О. Маргания. СПб.: Экономикс, 2007. С. 185–260.
- Травин Д.* У истоков модернизации: финал. Препринт М-50/16. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. URL: https://eu.spb.ru/images/M_center/M_50_16.pdf (дата обращения: 16.08.2019).
- Травин Д.* Англия: история успеха (Россия Нового времени: выбор варианта модернизации. Доклад 1). Препринт М-67/18. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. URL: https://eu.spb.ru/images/M_center/M_67_18.pdf (дата обращения: 16.08.2019).
- Ademmer E.* Capitalist Diversity and Compliance: Economic Reforms in Central and Eastern Europe after EU Accession // Journal of European Public Policy. 2018. Vol. 25. N 5. P. 670–689.
- Aljjeva L.* Left behind? A Critical Study of the Russian-speaking Minority Rights to Citizenship and Language in the post-Soviet Baltic States: Lessons from Nationalising Language Policies // International Journal on Minority and Group Rights. 2017. Vol. 24. N 4. P. 484–536.
- Fleming A., Chu L., Bakker M.* Banking Crises in the Baltics // Finance and Development. 1997. Vol. 34. N 1. P. 42–45.
- Godfrey C.* Section 28 Protesters 30 Years On: “We Were Arrested and Put in a Cell Up by Big Ben” // The Guardian. 2018. March 27. URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/mar/27/section-28-protesters-30-years-on-we-were-arrested-and-put-in-a-cell-up-by-big-ben> (дата обращения: 16.08.2019).
- Gordon R.* The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- Hira A.* Secrets behind the Finnish Miracle: The Rise of Nokia // International Journal of Technology and Globalization. 2012. Vol. 6. N. 1–2. P. 38–64.
- Ilves T.* Estonia as a Nordic Country. Speech by Toomas Hendrik Ilves, Minister of Foreign Affairs, to the Swedish Institute for International Affairs. 1999. December 14. URL: <https://vm.ee/et/node/42622> (дата обращения: 16.08.2019).

- Maentakanen E.* Western and Eastern Europe in Finnish Trade Policy, 1957–1974: Towards a Comprehensive Solution? // Cooperation and Conflict. 1978. Vol. 13. N 1. P. 21–41.
- Nyman J.* British Imaginings of a European Periphery: Roger Scruton, Michael Palin and Michael Booth in/on Finland // Journal of Postcolonial Writing. 2015. Vol. 51. N 2. P. 144–157.
- Pedersen K., Johannsen L.* Administrative Process as An Anti-Corruption Tool? A View from Public Employees in the Baltic States // Baltic Journal of Law and Politics. 2018. Vol. 11. N 1. P. 131–157.
- Selleck R.* Quaker Pioneers in Finnish Economic Development: James Finlayson and the Wheeler Family // Quaker History. 1962. Vol. 51. N 1. P. 32–42.
- Syväöja H.* “Suomen tulevaisuuden näen”: nationalistinen traditio autonomian ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998.
- Tiusanen T.* The Baltic States in Transition // International Politics. 1996. Vol. 33. N 1. P. 85–95.

Об авторах

Гельман Владимир Яковлевич — кандидат политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, исполнительный директор Центра исследований модернизации, профессор Университета Хельсинки. Научные интересы: политические процессы и государственное управление в современной России и постсоветских странах. E-mail: vgelman@eu.spbu.ru

Ланко Дмитрий Александрович — кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Научные интересы: регионализм в международной политике, международные отношения на севере Европы, внешнеполитические факторы модернизации. E-mail: d.lanko@spbu.ru

Травин Дмитрий Яковлевич — кандидат экономических наук, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Научные интересы: экономические реформы в России, европейская модернизация, постmodернизация. E-mail: dtravin61@mail.ru

Усанов Павел Валерьевич — кандидат экономических наук, доцент Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Научные интересы: американская модернизация, австрийская школа экономики, денежная теория и политика. E-mail: usanovpv@mail.ru

Щербак Андрей Николаевич — кандидат политических наук, доцент департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ СПб, заместитель заведующего Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Научные интересы: теория модернизации, количественные исследования национализма и национальной политики в России и СССР, политические процессы в России. E-mail: ascherbak@hse.ru

Научное издание

ЗАГАДКИ МОДЕРНИЗАЦИИ:
К 60-ЛЕТИЮ ОТАРА ЛЕОНТЬЕВИЧА МАРГАНИЯ
Сборник статей

Сосавитель *Д. Я. Травин*

Редактор, корректор *Д. М. Капитонов*

Дизайн *В. П. Вертинский*

Подписано в печать 04.10.2019. Формат 60×88 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,35. Тираж 300 экз.

Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А
e-mail: books@eu.spb.ru
тел.: +7 812 386 7627
факс: +7 812 386 7639
Сайт и интернет-магазин издательства
[WWW.EUPPRESS.RU](http://WWW.EUPRESS.RU)

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом
в типографии издательско-полиграфической фирмы «Реноме»
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66. E-mail: book@renomespb.ru
www.renomespb.ru
Заказ №